В. Г. ЧЕРТКОВ.
УХОД ТОЛСТОГО
ВЕСЬ ЧИСТЫЙ ДОХОД ОТ ИЗДАНИЯ — ГОЛОДАЮЩИМ.
Сергеичъ
ГРУЗЕНБЕРГЪ.

КОМИТЕТ ИМЕНИ Л. Н. ТОЛСТОГО
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ.

В. Г. Чертков.

УХОД ТОЛСТОГО.

Издание Центрального Товарищества
„Кооперативное Издательство“ и издательства „Голос Толстого“.
Москва — 1922.

(Р. Ц. Москва.) № 329. Напеч. 10.000 экз.

1-я Образцовая типография М. С. Н. Х., Москва, Пятницкая, 71.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Вступление:

Общественное мнение требует опубликования сведений об уходе Толстого.—Условия жизни Льва Николаевича служили проверкой его последовательности.—Почему необходимо разглашение сведений об его уходе?— Значение примера жизни Толстого.—Кривотолки о причинах ухода Толстого. — Нравственная обязанность друзей его заступиться за его память.—Моя задача 5

Часть I. **Почему Толстой не уходил** (Письмо к Х. Досеву).

Ошибка Досева, общая многим. — Действительные побуждения Л. Н. Его свобода от человеческого мнения.— Пределы его уступок.—Чтобы уйти, ему нужно было сознание необходимости ухода.—Уйти было легче, чем оставаться.—Страдания Л. Н. в Ясной Поляне. (Из его интимного дневника). Неосновательность осуждения его жизни в Ясной.—Он исполнял то, что требовал от него Бог.—Его любовь и доверие к жене.—Его жертва собою, ради нее. —Нам следует доверяться его добросовестности.—Подвиг его жизни в семье 16

Часть II. **Почему Толстой ушел.**

Гл. 1. *Условия жизни в Ясной Поляне.*

Барская обстановка; фальшивое положение перед людьми; душевный разрыв с женой 25

Гл. 2. *Ухудшение отношения к нему жены.*

Ухудшение условий жизни в Ясной: в области управления имением; в отношении с крестьянами; в непосредственном отношении к нему жены его. Отказ от владения землей. Готовность к уходу в душе и причины медлительности принятия окончательного решения 29

Гл. 3. *История завещания.*

Отношение к собственности вообще и к литературной в частности.—Расхождение в этой области с женой.—Непоколебимость Л. Н. в принципе отказа от литературной собственности.—Записка Денисенко.—Противодействие со стороны жены.—Краткая история составления завещания . 32

Гл. 4. *Промежутки отдыха в гостях.*

Оживление физическое и душевное.—Творческая работа 45

Гл. 5. *Последний период.*

Лето 1910 г. Мучительный период, подкосивший его здоровье 47

Стр.

Гл. 6. *Душевные страдания.*

Разочарование Л. Н. в возможности пробудить духовное сознание в душе жены. — Сознание ненужности своего дальнейшего пребывания в Ясной.—Вред его пребывания для С. А-ны 50

Гл. 7. *Ночь ухода.*

Последний толчок.—Сборы и выезд.—Запись в дневнике 52

Гл. 8. *Отношение к жене.*

Письма к ней в 1897 году и после ухода.—Причины его нежелания свидания с нею 54

Гл. 9. *Решающие побуждения к уходу.*

Внутренняя готовность и внешний повод. — Неосновательность суждений об уходе Толстого многих критиков. 60

Гл. 10. *Значение ухода и подвига жизни Л. Н—ча.*

Побуждение всей его жизни — быть в воле Бога.—Неизбежность конца 64

Часть III. **Отношение Л. Н. Толстого к своим страданиям.**

О росте внутреннего сознания в течение второго периода его жизни. — Из дневника 1884 г. — Разногласия с женой.—Близость к отчаянию.—Чувство одиночества.—Воспоминания и тоска по матери. — Тяготение к Богу.—Из дневника и писем в период 1889 — 1910 г.—Семейные испытания.—Крест жизни—до конца.—Его отзыв о своей жене и сознание своей вины (из разговора и из писем к Ч—ву).—Тайна чужой души. — Мысли Л. Н., обобщающие его понимание значения страданий. 69

Приложение 1-ое. Неизбежная односторонность использованных для этого исследования выдержек из писаний Л. Н. — Разносторонность его личности, уменье овладеть своими страданиями и природная жизнерадостность.—Достижение истинного блага 99

Приложение 2-ое. № 1. Дополнительные сведения о завещательных распоряжениях Л. Н—ча. № 2. О судьбе первого завещания 1895 г. 102

Приложение 3-ье. История письма Л. Н—к С. А. 1897 года (об уходе). 118

Приложение 4-ое. Моя роль в уходе Л. Н — ча. Мой ответ обвинителям. 120

Приложение 5-ое. Мое личное отношение к жене Л. Н.—Опыт и наблюдения 30 ти лет.—Задача—не осуждение, но—восстановление правды. 122

ВСТУПЛЕНИЕ.

В связи с последними годами и днями жизни Льва Николаевича Толстого успело уже накопиться столько недоразумений и кривотолков, столько пристрастных суждений и личных предубеждений, что, приступая к первому обстоятельному сообщению о его уходе, я вынужден, рискуя, быть-может, утомить внимание читателя, начать с несколько пространного вступления раньше, чем приступить к изложению истории самого ухода.

В настоящее время, после смерти жены Толстого [1]), не существует больше главного препятствия для разглашения истинных причин его «ухода» из Ясной Поляны. В числе других друзей Льва Николаевича и я десять лет молчал. В течение этого времени ко мне обращались многие лица, в том числе заслуживающие особого уважения и доверия, с просьбами о том, чтобы я опубликовал то, что знаю об этом событии. В виде образца приведу одно из писем такого рода, полученное мною от известной английской писательницы и почитательницы Толстого, престарелой, ныне покойной, г-жи Мэйо: [2])

Абердин. Шотландия.
17 января 1914 г.

«Многоуважаемый г. Чертков,

«В Англии многие теперь сознают, что настало время, когда в высшей степени желательно, чтобы мы услышали

[1]) Софья Андреевна Толстая, скончалась в ноябре 1919 г. Объяснение того моего отношения к Софье Андреевне Толстой, которое руководило мною при настоящем повествовании, читатель найдет в «Приложении пятом», помещенном в конце книги.

[2]) Isabella Fyvie Mayo, скончавшаяся в 1912 г.

правду о драме последнего года жизни Льва Толстого от такого лица, которое было ее очевидцем.

«Мы вполне понимаем и уважаем Вашу сдержанность по отношению к этому предмету. Но в настоящее время деятельно распространяются у нас много слухов, выставляющих Толстого в самом плохом свете и потому способствующих умалению его учения.

«А между тем мы до сих пор мало или ничего не слышали, как только от лиц, заведомо несочувствующих взглядам Толстого и не останавливающихся ни перед чем, чтобы противодействовать осуществлению его последней воли.

«К тому же, к сожалению, биография Толстого (г. Моода), наиболее известная в Англии, написана лицом, которое является не только не последователем Толстого, но даже не объективным или беспристрастным историком и находится в совершенном антагонизме с основным принципом Толстого о непротивлении злу насилием.

«Поэтому мы обращаемся к Вам, личному другу и сотруднику Толстого, с просьбою о том, чтобы вы доставили нам возможность услышать обстоятельства этого дела в том виде, в каком Вы их лично наблюдали.

«Некоторые из нас полагают, что собственные писания Толстого дают достаточное объяснение. Помню, когда я прочла последнюю страницу статьи «Живущие и умирающие» в его «Три дня в деревне», написанной только за несколько месяцев до его смерти, я поняла, что духовные страдания Толстого доходили почти до невыносимой напряженности.

«Но многие этого не понимают.

«Повторяю опять, что мы все глубоко уважаем ту сдержанность, которую Вы до сих пор проявили. Но бывает время, когда следует говорить, так же как бывает время и для молчания. История нам постоянно показывает, как невозможно бывает восстановить истину тогда, когда очевидцев уже нет в живых. Таким образом внедряются самые превратные и зловредные легенды.

«Надеюсь, что Вы обратите на этот вопрос Ваше самое серьезное внимание, и остаюсь с истинным уважением

«Изабелла Файви Мэйо».

Таких просьб, устных и письменных, я получал много от самых разнообразных лиц, в числе которых были люди, отличающиеся большою сдержанностью и тактичностью и потому особенно авторитетные в таком деликатном вопросе. Тем не менее, я до сих пор медлил.

Теперь я чувствую, что время, наконец, настало, и решаюсь открыто высказать то, что мне известно. Не с легким сердцем приступаю я к выполнению этой обязанности, но с полным сознанием связанной с нею нравственной ответственности. При этом желаю я только одного: не говорить ничего лишнего или неуместного, но, вместе с тем, и не умалчивать ничего такого, что высказать сознаю должным перед своей совестью, перед Львом Николаевичем и перед людьми.

В жизни и смерти Льва Николаевича Толстого два обстоятельства достойны особенного внимания.

Во-первых, непосредственные внешние условия, в которые он был поставлен, а именно все то, что ему приходилось переживать со стороны семейных отношений и домашней обстановки, было как будто нарочно придумано для того, чтобы подвергнуть его самому строгому испытанию. Если бы кому нужно было проверить на деле степень искренности, последовательности и духовной силы Льва Николаевича в осуществлении его жизнепонимания, то для этой цели нельзя было поставить его в более подходящие условия, нежели те, в которых он находился в течение последних тридцати лет своей жизни.

Во-вторых, замечательно то, что испытание это, более тяжкое, чем возможно себе представить кому-либо не близко знакомому с его интимной жизнью, выдержано было Львом Николаевичем с удивительной безупречностью. В свое время вся интеллигентная Россия в своей душевной слепоте воображала, что Толстой своей «барской» жизнью в Ясной Поляне являет обычный пример несостоятельности великого мыслителя в применении к самому себе тех высоких истин, которые он словесно проповедует. Враги Толстого злорадствовали, видя в его предполагаемой непоследовательности доказательство неосуществимости его теорий. Сторонники

его находили смягчающее вину обстоятельство в том соображении, что нужно быть благодарным Толстому за полученную от него духовную пищу и относиться снисходительно к его человеческим слабостям. А между тем, в это самое время Лев Николаевич с ничем непоколебимой настойчивостью, хотя временами и с неимоверными страданиями, одиноко совершал величайший подвиг самоотвержения, последовательности и нравственной выдержки, на какой только способен человек. Он на деле осуществлял в своих поступках и во всей своей личной жизни то самое, что на словах исповедывал, и примером своей жизни и своей смерти запечатлел то полное отречение от всяких личных желаний, то беззаветное служение воле Бога, в котором он полагал смысл и назначение человеческой жизни.

Я хорошо знаю, что такое утверждение может показаться преувеличенным. Некоторые читатели будут склонны отнести мои слова к естественному увлечению «толстовца», идеализирующего своего «учителя». Но, к счастью, в моем распоряжении сохранился обширный документальный материал, неопровержимо подтверждающий точность моих слов. С этим материалом, равно как и со своими собственными наблюдениями и известными мне сведениями и фактами в связи со всей семейной жизнью Л. Н-ча, я надеюсь, в свое время, поделиться с читателями.

Письменные документы, хранящиеся у меня, достаточно раскрывают общий характер ближайших условий, в которых Льву Николаевичу приходилось жить. Но, руководствуясь одними этими данными, необходимо было бы мириться с неизбежными недомолвками и пробелами. Читателям пришлось бы обращаться с этими бумагами, как поступают ученые исследователи со своим «историческим материалом», а именно—пополнять недосказанное своими собственными догадками и согласовать несвязное или примирять противоречия в зависимости от своих личных предпочтений и от степени своей изобретательности. Среди обширного материала о жизни Толстого уже заведомо имеются и, несомненно, будут еще появляться сообщения, содержащие большее или меньшее извращение действительности и даже безусловный вымысел. Уже успела в настоящее время накопиться целая литература, к злорадству врагов Л. Н-ча изображающая

его личность, его жизнь, его уход и его смерть в совершенно извращенном виде и переполненная самой беззастенчивой клеветой.

При таких условиях будущим биографам Толстого пришлось бы, как это обыкновенно и делается, проводить среднюю пропорциональную между всеми имеющимися у них разноречивыми данными. При этом они поневоле будут поддаваться искажающему влиянию неправдивых источников, что уже и заметно в некоторых успевших появиться биографиях. В виду этого особенно важно, чтобы кто-нибудь из современников Толстого, кто находился с ним в самых близких сношениях и, пользуясь его полным доверием, был непосредственно знаком с истинными условиями его домашней жизни,—оставил бы последовательное письменное изложение всего того, что ему достоверно известно из этой области. Притом желательно, чтобы лицо это не принадлежало к числу его родственников и потому было бы вполне свободно от всяких семейных предпочтений и пристрастий.

Не в силу каких-либо личных достоинств, но лишь благодаря некоторым внешним обстоятельствам, удовлетворяя именно этим условиям,—я не могу не сознавать, что самой судьбой на меня наложена нравственная обязанность заняться такой работой.

И нужно подобное повествование не для одного только соблюдения «исторической точности» в жизнеописании великого человека. Она нужна в интересах человечества для сохранения во всей своей неприкосновенности поразительного примера жизни Толстого, ибо жизнь эта неопровержимо подтверждает возможность действительного осуществления тех высоких истин, которые он словесно выражал.

Ошибочно бывает соглашаться только с такими истинами, которые исходят от человека, безупречно осуществляющего в своей собственной жизни то, что он говорит. Наша природа так создана, что человек бывает в состоянии выяснять в своем сознании такие высокие истины, которые он сам не в силах проявить на деле. Они могут быть осуществлены другими современными ему людьми, более сильными, чем он, или будущими, более нравственно усовершенствованными поколениями. Но вместе с тем та же человеческая природа так устроена, что пример осуществления человеком в своем

собственном поведении, несмотря ни на какие лишения и страдания, вплоть до жертвы своей жизнью—того, что он проповедует, всегда вызывает среди людей восторженное сочувствие. Это служит для многих могущественным поощрением и опорою на пути следования провозглашаемым таким человеком идеалам.

Если бы Толстой в своей личной жизни был непоследователен и далек от осуществления своих собственных верований, то и в таком случае он все же заслужил бы великую благодарность за тот громадный, не поддающийся никакому измерению толчок, который он дал развитию человеческого сознания своей умственной работой. Но судьбе угодно было в лице Толстого создать не только гениального мыслителя, но и великого подвижника. А потому в высшей степени важно сохранить самые точные сведения о его личной жизни, в особенности о той ее области, в которой ему больше всего приходилось жертвовать собою и страдать при осуществлении на деле того, во что он верил.

Наконец, побуждают меня к предпринятой мною работе еще и те личные отношения, которые существовали между мною и Л. Н-чем. Соединявшая нас тесная и многолетняя дружба, моя горячая преданность и любовь к нему при его жизни, а теперь—к его бесконечно дорогой для меня памяти, мое уважение и преклонение перед тем божеским Началом, которое в нем с такой силой и чистотой проявлялось—внушают мне потребность способствовать, насколько это от меня зависит, тому, чтобы вся правда, вся мощь его жизненного подвига сохранилась среди людей во всем своем поразительном, незапятнанном блеске. Если есть люди, для которых правда эта невыгодна или неприятна и которые всячески стараются ее извратить или скрыть, взводя на Л. Н-ча самые дикие выдумки или требуя умолчания истины, то кому же, как не его ближайшим друзьям, подобает вступиться за его память и предохранить его светлый образ от искажения или загрязнения?

Теперь, когда нет уже в живых вдовы Льва Николаевича, ради которой сведения эти до сих пор не опубликовывались, не только позволительно выступать в его защиту, но обстоятельствами наложена на нас, его друзей, прямая обязанность раскрыть правду о его жизни и смерти в противовес

всей той клевете, которая пущена уже в обращение его врагами [1]).

Мне приходилось слышать (правда, от таких лиц, для самолюбия которых было бы приятнее сохранение втайне

---

[1]) В связи с этим позволю себе здесь привести небольшую выдержку из помещенной в № 3 (15) журнала «Голос Толстого и Единение» моей заметки под заглавием: «Нужна ли правда об уходе Толстого?»:

«Условия, при которых Лев Николевич Толстой оставил Ясную Поляну и умер в пути, на железно-дорожной станции, были, как известно, совсем исключительные. А между тем до сего дня—несмотря на то, что с тех пор минуло вот уже десять лет — человечество все еще не знает истинных обстоятельств этого события. Ни в России, ни за границей не известны действительные причины, побудившие такого человека, как Лев Толстой, покинуть свою семью. Благодаря этому, каждый по своему придумывал и опубликовывал по этому поводу всевозможные измышления. Одни утверждали и продолжают еще утверждать, что Толстой, почувствовав потребность вернуться в лоно православной церкви, хотел уйти спасаться в монастырь. Другие уверяли, что он от старости настолько ослабел умом, что сам хорошо не знал, что делает, и, инстинктивно чуя приближение смерти, бежал просто, куда глаза глядят. Третьи с удовлетворением отмечали, что хоть под конец своей жизни Толстому удалось превозмочь свое пристрастие к семье и порабощение барской обстановкой и совершить то, что по своим убеждениям он должен был исполнить гораздо раньше. Четвертые, наоборот, выражали сожаление о том, что у него не хватило сил выдержать до конца свое семейное испытание и что, возмутившись поведением близких лиц, он потерял душевное равновесие и изменил своему долгу по отношению к семье. Не перечислишь всех тех предположений и толков, которые распространялись людьми, старавшимися разгадать, стоявшую перед ними в течение десяти лет, загадку об уходе Толстого или умышленно извращавшими правду. Еще совсем недавно в своей книжке о Толстом (уже переведенной на иностранные языки) Максим Горький—со свойственной ему изумительной опрометчивостью по отношению к таким вопросам, с которыми он не знаком или которых не понимает—счел уместным, в числе других нелепостей о Толстом, оповестить мир о том, что Лев Николаевич ушел из Ясной Поляны с «деспотическим намерением усилить гнет своих религиозных идей» и «заставить» этим «принять их»; и что он, Максим Горький, не одобряет такого поведения...

«Перед памятью умершего друга я сознаю себя обязанным обнаружить неосновательность тех нареканий и той клеветы, которыми старались запятнать его личность люди, ложно осведомленные о его жизни или враждебные к его миросозерцанию. Я естественно чувствую потребность содействовать по мере сил восстановлению во всей чистоте и красоте душевного облика того, кому я так много обязан за его любовь и духовную помощь.»

семейной драмы Л. Н-ча) еще одно возражение. Сам Л. Н., говорят они, никогда не прибегал к самозащите от своих клеветников. Он предпочитал быть порицаемым общественным мнением тому, чтобы разоблачать тяжелые условия своей жизни и из-за себя подвергать осуждению других. А потому и теперь, уверяют они, после его смерти, друзья его должны следовать его примеру.

С этим никак нельзя согласиться. Что сам Л. Н. скрывал свои страдания—это понятно. Он черпал силу и находил удовлетворение в сознании того, что живет не перед людьми, а перед Богом. Он не только не нуждался в человеческом одобрении, но, наоборот, в несправедливом осуждении со стороны людей он видел для себя пользу в том отношении, что это — как он выражался — поневоле загоняет человека на тот путь, на котором ему приходится руководствоваться одним только голосом Божьим в своей душе. Но разве это значит, что и мы должны замалчивать подвиг жизни и скрывать правоту Л. Н-ча теперь, когда его нет среди нас?

У нас нет, и не может быть, и не должно быть тех побуждений, которые в этом случае руководили им. Для меня, для моей души бывает полезно, когда меня напрасно осуждают, вследствие того, что я не желаю оправдываться и щажу истинного виновника. Но ничего нет хорошего в том, чтобы я отмалчивался, когда другого в моем присутствии несправедливо осуждают или клевещут на него, между тем как я имею возможность обнаружить его правоту. У Л. Н-ча были основания не́ оправдывать себя перед людьми. У нас же нет никаких оснований скрывать то, что оправдывает его. В данном случае руководствоваться нам следует не представлением себя на его месте, если бы он был жив, а непосредственным голосом нашего собственного сердца и нашего разума, требующим того, чтобы мы заступились за друга, память которого оскорбляется на наших глазах.

Таковы причины, побудившие меня предпринять особую биографическую работу, о «подвиге жизни Л. Н. Толстого», обнимающую весь период его семейной жизни и включающую в себе только как бы отдельной главой излагаемое здесь сообщение об уходе Толстого.

Все явления мировой жизни так неразрывно связаны и переплетены между собою, что если бы было возможно изме-

нить в прошлом какое-нибудь из них, хотя бы самое, повидимому, ничтожное, то пришлось бы одновременно изменить и все решительно остальные предшествовавшие и сопутствовавшие обстоятельства. А потому для того, чтобы вполне исследовать те условия, которые вызвали то или иное явление в жизни человека, нужно было бы рассмотреть всю прошлую историю человечества как внешнюю, фактическую, так и внутреннюю, душевную. За невозможностью же даже только в сознании своем обнять всю беспредельность этих условий, необходимо признать, что нам совершенно недоступно определить все то, что вызвало то или иное явление даже в жизни отдельного человека.

Так и в занимающей нас здесь истории ухода Толстого, никакое, даже самое тщательное, исследование не может исчерпать всех, теряющихся в бесконечности прошлого, обстоятельств внутренних и внешних, послуживших причиной этого события. Мало того, даже в области, поддающейся исследованию, личной жизни Толстого обстоятельства, вызвавшие и содействовавшие его уходу так многочисленны и разносторонни, что одному человеку не под силу их перечислить исчерпывающим образом. К тому же и окраска, придаваемая в подобных случаях разбираемым обстоятельствам, и самое направление исследования в такой степени зависят от личной точки зрения и настроения исследователя, что его подбор и освещение причин, как бы он ни старался быть беспристрастным, неизбежно будут страдать некоторой, большей или меньшей долей односторонности. А потому при выяснении причин ухода Толстого в высшей степени важно, чтобы возможно большее число современников изложили и сохранили для будущих поколений те сведения, воспоминания и соображения, которыми они располагают; и притом желательно, чтобы сделали это преимущественно те из них, которым приходилось ближе всего соприкасаться с личной и семейной жизнью Л. Н-ча. Правдивая история жизни Толстого должна быть сохранена в возможно большей полноте для предстоящих поколений. И его современникам, начиная с ближайших, находящихся еще в живых его семейных, его личных друзей и ближайших сотрудников, не следовало бы пренебрегать этой серьезной задачей, которая самой судьбой возложена на них.

С своей стороны я вполне сознаю, что тот небольшой почин в этом направлении, к которому я здесь решаюсь приступить, может послужить лишь одной каплей в море всех тех фактов и сведений, наблюдений и соображений, которые желательно было бы собрать в одно место раньше, чем современники Толстого сойдут со сцены земной жизни [1]).

При составлении настоящей книги я старался как можно строже различать четыре области изложения: 1) Факты и обстоятельства, мне достоверно известные и потому утверждаемые мною без оговорок. 2) Факты и обстоятельства, в достоверности которых я лично убежден, хотя и не считаю себя вправе ее безусловно утверждать, и которые я поэтому сообщаю с некоторой оговоркой. 3) Обстоятельства мною предполагаемые на основании определенных данных, которые я в таких случаях и привожу. 4) Мои личные мнения, соображения и размышления в связи с приводимыми фактами и обстоятельствами.

Если я часто позволяю себе здесь включать в изложение и свою личную оценку сообщаемого, то это отнюдь не потому, чтобы я хотел навязывать читателю мои мнения вместо того, чтобы, ограничившись одним лишь фактическим сообщением происшедшего, предоставить ему выводить свои собственные заключения. Достоинства безразличного, так называемого объективного изложения я вполне признаю. Но дело в том, что самая задача настоящего моего исследования не в этом заключалась. Как и было выше указано, цель моя при составлении этой книги лежала в опровержении направленных против Л. Н-ча клеветы и лжетолкований его поведения.

Что касается обстоятельного объективного изложения фактических подробностей, связанных с уходом Толстого, то, как оно ни желательно, но мне кажется, что время для этого еще не настало, так как наиболее осведомленные по этой части лица еще не успели опубликовать того богатого и разнообразного запаса сведений и подробностей по этому вопросу, которым они располагают. Будем же надеяться,

---

[1]) При Толстовском Музее в Москве (Пречистенка, 11) образован кружок, задавшийся, между прочим, целью собирания и хранения подобных сообщений, часть которых, по соглашению с их авторами, может быть опубликована в «Вестнике Толстовского Музея».

что они не станут откладывать этой задачи в долгий ящик до тех пор, пока сами не окажутся в могиле. И если настоящее мое выступление хоть сколько-нибудь побудит их поделиться и с своей стороны тем, что они знают, хотя бы это было даже только для того, чтобы меня опровергать, то я был бы этому очень рад, равно как и всякой поправке в моей работе, которую кто-либо нашел бы желательным сделать. Лучше, чтобы все, касающееся этого предмета, было основательно обсуждено и по возможности выяснено еще самими очевидцами событий, нежели, чтобы оно составляло в будущих веках предмет обширной полемической литературы, далеко не выясняющей истины, как слишком часто бывает по отношению к жизни выдающихся представителей человечества. И вот мне кажется, что тогда, когда появится возможно большее количество таких дополнительных сообщений по этому самому вопросу, и только тогда, возможно будет из всего накопившегося материала выработать то действительно объективное и достоверное повествование об уходе Толстого, которое так необходимо для передачи людям истинного представления о подвиге его жизни.

В. Чертков.

Январь 1922 г.
Лефортовский пер., 7.
Москва.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Почему Толстой не уходил.

Из письма к Х. Досеву от 19 октября 1910 г. ст. ст. [1]).

Дорогой Досев, по поводу твоего последнего письма чувствую потребность возразить тебе на то, что ты в нем говоришь в связи с Львом Николаевичем.

Говоришь ты о нем, между прочим, следующее:

«Нет хуже, чем рабство. Но еще хуже рабство у балованного дитяти, избалованного самим тобой. Но я не знаю ничего хуже на свете, чем рабство перед безрассудной, своевольной женщиной, которая уверена, что чего она ни захочет, ее раб-муж сделает. Не такова ли Софья Андреевна, и не в рабстве ли у нее Лев Николаевич? Его послушание перед С. А-ной я считаю не достоинством, а слабостью. Он делает ей уступки, боясь нарушить любовь. Но разве этим не сам он нарушает великую любовь? Ведь она его отделяет от друзей, от народа, от человечества, она заставляет его жить противной жизнью богача-помещика. Я не упрекаю, не осуждаю Л. Н-ча, слишком уж люблю и уважаю его. Но мне жаль его. Жаль мне всю его жизнь и великую проповедь, которая для него самого и для близких ему людей не прошла даром, но которая пройдет даром для народа, для человечества; потому

---

[1]) Письмо это за десять дней до ухода Л. Н-ча из Ясной Поляны написано мною было к общему другу Л. Н-ча и моему, переселившемуся в Россию из Болгарии, Христо Досеву, умершему в 1919 году. Привожу свое письмо дословно, ради сохранения его непосредственного характера. Считаю необходимым отметить, что, несколько лет после смерти Л. Н-ча, Х. Досев говорил мне, что он признал ошибочным то осуждение Л. Н-ча, которому он дал выражение в своем письме, вызвавшем этот мой ответ.

что его внешняя жизнь стушевывает в глазах людей все значение и смысл его слов и мыслей...»

Ты заканчиваешь словами: «Не огорчайтесь моими словами. Повторяю—это слова не осуждения, а боли любящего человека. И поэтому, если я не так вижу что-нибудь,—прости ты, все вы и Л. Н. Лучшая радость моей жизни—это моя любовь к нему, к вам, друзьям по духу».

Именно потому, что я верю искренности твоей любви к Л. Н-чу и знаю, как и он с своей стороны тебя любит,—именно поэтому я чувствую неудержимую потребность возразить тебе, милый друг, на эти твои слова. Ты действительно «не так видишь» и ошибаешься, предполагая в Л. Н-че рабство и непоследовательность. В своем отношении к С. А-не он, наоборот, проявляет самую большую свободу—свободу от заботы о человеческом мнении, и наивысшую последовательность—решимость исполнять, по мере своего понимания и своих сил, волю не свою, а Божью. И ради исполнения этой воли Божьей он не останавливается ни перед какими своими личными страданиями, ни перед каким человеческим осуждением и позором.

Ты ошибаешься, полагая, что Л. Н. делает все, что ни захочет С. А. Напротив того, у него есть предел, дальше которого он ей не уступает. Не уступает он тогда, когда она требует от него того, что несомненно против его совести. И от того, что он не уступает до конца, а придерживается такого предела в своих уступках,—именно от этого самого ему и приходится так много страдать от С. А-ны.

О том, чтобы уйти от своей жены, Л. Н. за последние десятилетия часто думал и не раз бывал на самой границе того, чтобы совершить этот шаг. Вполне еще возможно, что, в конце-концов, он его и совершит, если убедится в том, что его присутствие около жены не достигает своей цели, а только больше волнует ее и поощряет ее домогательства и деспотизм. Но для этого ему необходимо ясно и несомненно сознать в своей совести, что ему действительно *следует* ее оставить. Если же до сих пор он еще не оставил ее, то вовсе не потому, чтобы ему было приятнее или удобнее жить в ее доме,—вовсе не по слабости характера или боязни ослушаться ее; а, поверь мне, единственно потому, что он недостаточно еще уверен, что ему действительно *следует* уйти,

не чувствует, что воля Божья в том, чтобы он ушел. Ему лично настолько было бы приятнее, покойнее и во всех отношениях удобнее, если бы он ушел, что он боится поступить эгоистично, сделать то, что ему самому легче, и отказаться из малодушия от несения того испытания, которое ему назначено.

Ведь если бы он ушел из яснополянского дома, то при его преклонных летах и старческих болезнях, он уже не смог бы теперь жить физическим трудом. Не мог бы он также пойти с посохом по миру и заболеть и умереть где-нибудь на большой дороге, или прохожим странником в чужой избе. Как бы привлекателен ни был для него самого такой конец и как бы театрально-блестяще это ни показалось той толпе, которая в настоящее время его осуждает, —он не мог бы так поступить из простой любви к любящим его людям, к своим дочерям и близким по духу друзьям. Он не мог бы, не становясь жестоким, отказать им в том, чтобы поселиться где-нибудь в скромном помещении, где они сами, без участия прислуги, занимались бы его домашним хозяйством, окружая его необходимыми в его возрасте сердечными попечениями и облегчая ему возможность беспрепятственно общаться с столь любимым им рабочим народом, от которого он в настоящее время совершенно отрезан. Ведь такая тихая и свободная жизнь, в сравнении с той тюрьмой, в которой ему сейчас приходится жить, была бы для него настоящим раем. Спрашивается, почему же он не воспользуется такой вполне доступной ему счастливой внешней обстановкой, благо жена его давно уже, казалось бы, дала ему достаточно поводов для того, чтобы покинуть ее дом? Почему хоть теперь, на склоне лет своих, он не скинет, наконец, с себя то тяжелое бремя, которое, в лице С. А-ны, он носит на своих плечах вот уже 30 лет, иногда почти совсем изнемогая под ним? Очевидно, что если он не делает этого, то никак не из слабости или малодушия и не из эгоизма; а напротив того, из чувства долга, из мужественного решения оставаться на своем посту до самого конца, жертвуя своими предпочтениями и своим личным счастьем ради исполнения того, что он для себя считает высшей волей.

В июле 1908 г. Л. Н. переживал один из тех, вызванных С. А-ной, мучительных душевных кризисов, которые у него почти всегда оканчиваются серьезной болезнью. Так было

и в этот раз; он тотчас после этого заболел и некоторое время находился почти при смерти.

Приведу несколько выдержек из его дневника, записанных им в дни, предшествовавшие болезни:

2 июля 1908. «Если бы я слышал про себя со стороны,— про человека, живущего в роскоши, отбивающего все, что может, у крестьян, сажающего их в острог, и исповедующего и проповедующего христианство, и дающего пятачки, и для всех своих гнусных дел прячущегося за милой женой,— я бы не усумнился назвать его мерзавцем! А это то самое и нужно мне, чтобы мне освободиться от славы людской и жить для души».

«Приходили в голову сомнения, хорошо ли делаю, что молчу, и даже не лучше ли было бы мне уйти, скрыться. Не делаю этого преимущественно потому, что это для себя, для того, чтобы избавиться от отравленной со всех сторон жизни. А я верю, что это-то перенесение этой жизни и нужно мне».

3 июля 1908. «Все так же мучительно. Жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена. Куда ни выйду,—стыд и страдание».

6 июля 1908. «Помоги мне, Господи. Опять хочется уйти. И не решаюсь! Но и не отказываюсь. Главное: для себя ли я сделаю, если уйду. То, что я не для себя делаю, оставаясь, это я знаю».

9 июля 1908. «Одно все мучительнее и мучительнее: неправда безумной роскоши среди неодолимой нищеты, нужды, среди которой я живу. Все делается хуже и хуже, тяжелее и тяжелее! Не могу забыть, не видеть».

Помню, как, возвращаясь однажды в эти дни с одинокой прогулки в лесах, Л. Н.—с тем радостно-вдохновенным выражением, которое последние годы так часто озаряет его лицо,—встретил меня словами:

«А я много и очень хорошо думал. И мне стало так ясно, что когда стоишь на распутьи и не знаешь, как поступить, то всегда следует отдавать предпочтение тому решению, в котором больше самоотречения».

Из всего этого видно, как глубоко Л. Н. чувствует свое положение, как страстно ему по временам хочется скинуть с себя свое ярмо и вместе с тем, как искренно и самоотверженно он ищет не своего облегчения, а только одного—выясне-

ния того, как ему следует поступить перед своей совестью, перед тем «Богом своим», служению которому не только словом, но и делом, он посвятил свою жизнь.

После этого, как близоруко, как несправедливо и жестоко звучат слова—в особенности в устах такого любящего и любимого друга Л. Н-ча, как ты—о том, что «его послушание перед С. А-ной» ты считаешь не достоинством, а слабостью. Мы можем предполагать, что на месте Л. Н-ча мы поступили бы иначе, хотя нам трудно сказать, сделали бы мы, поступая иначе, лучше или хуже, чем он. Мы можем не понимать всего того, что творится в его душе, а потому можем недоумевать перед некоторыми его поступками. Но я, по крайней мере, не могу не относиться с величайшим уважением к тем чистым, самоотверженным побуждениям, которые им руководят. Я не могу не чувствовать к нему полного доверия в этом вопросе, ибо если кто, жертвуя всеми своими личными потребностями и удовольствиями и несмотря ни на какие свои страдания и лишения, неуклонно старается исполнять требования своей совести, то он делает все, что можно ожидать от человеческого существа, и никто не имеет ни права его осуждать, ни надобности беспокоиться за него.

Ведь в самом деле, для нас, глядящих со стороны на жизнь Л. Н-ча, она представляется внешним явлением, которое мы можем рассматривать, смотря по нашему настроению. О Л. Н-че и его образе жизни мы в свободные минуты решаемся судить и рядить, как о чем-то нам гораздо более доступном и понятном, нежели ему самому. «Чужую беду руками разведу, к своей ума не приложу». Мы забываем, что для нас это есть только предмет суждения, о котором мы можем иметь то или другое мнение,—вопрос, в связи с которым мы можем при случае спорить, доказывать и опровергать. Но для Л. Н-ча это есть вопрос *совести*, есть само дело его жизни, то, во что он вкладывает всю свою душу, все разумение свое. Какое основание имеем мы воображать, что мы, посторонние зрители, сознающие себя гораздо ниже Л. Н-ча в духовном отношении,—в состоянии лучше разобраться в его жизни и добросовестнее для него решить, как ему следует поступить, нежели может это сделать он сам, день и ночь молитвенно, перед Богом ищущий руководства для своего поведения?

Пускай враги его злорадствуют над его кажущимся унизительным положением; пускай его осуждают или покровительственно жалеют узкие и близорукие «толстовцы», лишенные сердечной чуткости и душевной проницательности; но нам, его истинным друзьям, людям одного с ним духа, понимающим то, чем он живет, и стремящимся к тому же, к чему и он стремится,—нам-то, дорогой Досев, подобает побольше верить и доверять ему.

Как тебе известно, из друзей Л. Н-ча никто больше меня и моей жены не страдает от отношений Л. Н-ча к С. А-не, лишивших нас одной из величайших радостей нашей жизни—личного общения с ним, ради пользования которым мы, главным образом, и поселились в здешней местности [1]). Но когда я нахожусь в хорошем состоянии духа, то все это тяжелое и обидное покрывается моим доверием ко Л. Н-чу, моей ничем непоколебимой уверенностью в том, что он для себя ничего не желает, а всеми силами старается только об одном—о том, чтобы в каждую данную минуту исполнять то, чего требует от него Бог.

Некоторые из преданных Л. Н-чу его домашних сокрушаются о том, что он поддается той для них очевидной комедии, которую С. А., ради достижения своих целей, так часто разыгрывает перед ним, то волнуя его напускными припадками отчаяния и умопомешательства, то растрагивая его сердце еще более неискренними,—а если иногда и полуискренними, то самыми скоропреходящими,—проявлениями раскаяния, смирения и попечения о его благосостоянии. Но мне кажется, что если Л. Н., при удивительной чистоте своего собственного сердца, не в состоянии видеть С. А-ну такою, какая она на самом деле есть, и с трогательным доверием хватается за каждый повод признать в ней малейшие признаки пробуждения совести, то хотя бы он при этом и ошибался, но умиление и радость, которые он в этих случаях испытывает, вполне законны, потому что вытекают из его

---

[1]) Писалось это письмо в то время, когда, живя всего в нескольких верстах от Ясной Поляны, я находился в искусственной разлуке с Л. Н-чем. Вызвана была эта, длившаяся до самого ухода его, более трех месяцев, разлука враждебным отношением ко мне жены Л. Н-ча, возбужденное состояние которой он надеялся успокоить обещанием не видеться со мной.

великой любви и всепрощения. Можно усомниться в том, хорошо ли для самой С. А-ны такой успех ее притворства. Но кто знает, быть-может, эта удивительная, ничем не сокрушимая вера в ее душу со стороны Л. Н-ча, это его постоянное ожидание, его преждевременное, трепетное предвкушение того духовного в ней оживления, которого он так беззаветно желает, в свое время окажет свое действие на С. А-ну. Быть может такое отношение к ней того человека, которого она столько лет так безжалостно мучила, и который тем не менее из всех людей один только ее искренно любил и любил до конца, когда-нибудь отразится в ее душе. Воспоминание об этом, в свое время, напр., при сознании ею приближения своей смерти, когда поневоле стушевываются всякие мирские планы, цели и желания, может быть одно только и будет в состоянии оживить в этой несчастной женщине ту искру Божию, возможность которой мы не имеем права отрицать ни в каком человеческом существе.

А если это возможно, то удивительно ли то, что Л. Н., всецело отдавшись служению божеской любви, неустанно старается любовью растопить сердце подруги своей жизни, которую он когда-то сам к себе привлек, с которой делил свою прошлую грешную жизнь и с которой вместе хотел бы и душу спасти?

Да и вообще, дорогой Досев, я глубоко убежден в том, что никому из нас нельзя решать для другого, что ему нужно и чего не нужно делать, ни определять относительно поведения другого человека, что составляет его слабость и что— его достоинство. «Перед своим Богом», как сказано в Евангелии, «каждый из нас устоит или упадет». Не нам, людям, вмешиваться в эту сокровенную область чужой души с нашими близорукими суждениями, легкомысленными приговорами и ошибочными сожалениями.

И как бы Л. Н. дальше ни поступил—останется ли он до конца около своей жены, или же найдет когда-нибудь нужным для ее же блага от нее уйти—я уверен в одном: что в этом деле он действительно поступит только так, как велит ему его совесть; а потому поступит правильно.

Ведь если бы жена Л. Н-ча утопала, и он, бросившись в воду, чтобы ее спасти, сам погиб бы, то никто не стал бы его упрекать в том, что он пожертвовал друзьями и челове-

чеством из-за чрезмерных семейных привязанностей. Тем более нельзя его упрекать в том, что он посвящает свою жизнь, жертвует ее радостями, покоем, а может быть и совсем отдаст ее, ради спасения жены своей от погибели ее души.

Не следует также забывать и того, что при этом Л. Н. все время продолжает самым внимательным и чутким образом отзываться на все существенные нужды, духовные и материальные, своего народа и всего человечества, посвящая все рабочее время своей жизни напряженному душевному труду в интересах рабочих масс и вообще всего страдающего, как от внешнего, так и от внутреннего зла, человечества.

Что касается того, что для самого этого народа, для этого человечества «вся его жизнь и великая проповедь пройдут», как ты думаешь, «даром, потому что его внешняя жизнь стушевывает в глазах людей все значение и смысл его слов и мыслей», то в этом также, уверяю тебя, ты глубоко ошибаешься.

Пройти даром для человечества его слово *не может* уже по одному тому, что выражает оно не что-нибудь «свое», с чем могут согласиться только те, кто «пойдут за ним», а выражает оно то лучшее, что живет в сердце каждого человека. И поэтому самому то, что говорит Толстой в своих писаниях, находит, без всякого отношения к его собственной личной жизни, непосредственный живой отклик в сердцах и сознании всех людей с непритупленной совестью. И с течением времени отклик этот будет становиться только все яснее и громче.

Когда же станут общеизвестны истинные условия домашней жизни Л. Н-ча, то к непосредственной убедительности его слов в глазах человечества присоединится еще и великий подвиг его семейной жизни, запечатлевший на деле то, что он выражал словами.

Хождение в народ, тюремное заключение, пытки, кресты, костры, казни... все это уже было. И как ни достойны глубочайшего уважения те люди, которые идут на это из-за совести, все же, если говорить о примере жизни, то нам, людям, в настоящее время нужен был пример еще иного рода.

На виселицу добровольно идут даже из-за желания взорвать на воздух своего ближнего. Становятся пожизненными калеками и убиваются на смерть ради того, чтобы побить

рекорд на автомобиле или аэроплане. Все это блестяще и крикливо, но никого уже не удивляет. Но совсем другое дело прожить несколько десятков лет с такой женой, как С. А., не бежав от нее и сохранив в сердце своем жалость и любовь к ней, и это—под аккомпанимент неумолчного глумления врагов и непонимания и осуждения со стороны большинства друзей своих, —жить так изо дня в день, из года в год, не видя и не предвидя никакого избавления, кроме своей смерти, терпеть при этом все то, что приходится терпеть Л. Н-чу, периодически от этого болеть и почти что не умирать... И не только не сохранять в своей душе ни малейшего осуждения или горечи, а напротив, все время еще себя винить в недостатке терпения и любви,—это вот, со стороны Л. Н-ча, действительно, есть высшая последовательность. Это есть такое свидетельство об истинности его жизнепонимания, ярче и сильнее которого ничего нельзя было бы придумать! Вот в таком-то именно примере как раз и нуждается человечество в наше время. И пример этот дает нам Л. Н. своей жизнью.

Когда взглянешь на дело с этой точки зрения, то становится ясно до очевидности, почему Л. Н-чу нужна была именно такая жена, какая ему досталась, «Большому кораблю большое плавание». Ему, выставившему заповедь любви в ее решительно ничем не ограниченном смысле,—именно ему нужно было и в жизни своей иметь возможность проявить на деле действительную достижимость для человека такой ничем на свете не нарушимой любви. И люди в свое время, когда истина о жизни Л. Н-ча станет общим достоянием, будут бесконечно ему благодарны за это радостное подтверждение возможности следовать на самом деле тому божескому жизнепониманию, выразителем которого является Толстой в своих писаниях.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Почему Толстой ушел.

I.

Через несколько дней после того, как было написано приведенное письмо, Лев Николаевич покинул Ясную Поляну.

С первого взгляда может показаться, что если он хорошо делал, оставаясь столько времени при жене, то и под конец он не должен был ее бросить; или же, наоборот, что если он был прав уходя, то напрасно не сделал этого раньше.

Так и рассуждают многие. Одни—большинство—восхваляют его за его уход, считая, что этим он «искупил» свою прежнюю, будто бы, слабость и непоследовательность. Другие—небольшое меньшинство—напротив того, хвалят его за то, что он столько лет оставался при жене, а уход его считают проявлением его несостоятельности. [1]) Мне кажется, что, во всяком случае, друзьям Л. Н-ча, сумевшим по достоинству оценить ту самоотверженность, с которой он в течение стольких лет оставался добровольным узником в

[1]) Мне приходилось встречать ссылки на мое письмо к Досеву, как на подтверждение того, что и я, при всей моей преданности Л. Н-чу, считал, что ему не следовало оставлять жену. Но ничего подобного нет в моем письме, главная мысль которого заключалась только в том, что никто не имеет права становиться судьею Л. Н-ча в этом деле. Я подробно указал на основательность тех причин, которые побуждали его оставаться в Ясной Поляне, пока он там оставался; но вместе с тем в том же письме, хотя и написанном до ухода Л. Н-ча, я сделал несколько оговорок о возможности того, что, в конце концов, обстоятельства примут такой оборот, что он сочтет нужным уйти.

доме своей жены,—что этим именно друзьям его больше, чем кому либо другому, следовало бы иметь к нему то доверие, которого он был достоин. Они, по крайней мере, могли бы быть спокойными относительно того, что, если уж он после этого и решился уйти, то, значит, имел на то основательные причины. Тем более, что такое объяснение гораздо естественнее и правдоподобнее, чем предположение о том, что Л. Н., столь успешно выдержав такое продолжительное испытание и проявив такую поразительную стойкость и самоотверженность, перед самой смертью почему-то оплошал и изменил своей совести.

По отношению к вопросу о том, оставаться ли ему при жене или уйти, Л. Н. был руководим не одним каким-нибудь, а многими, и притом часто противоположными побуждениями.

В пользу того, чтобы не покидать жены, у него были разные основания, которых я коснулся в моем письме к Досеву. Из них главное было его сознание того, что, оставаясь, он, по отношению к С. А-не, осуществлял требования любви и старался сделать ей добро; а сам—совершал самоотверженный и полезный для своей души поступок.

Оснований для того, чтобы уйти, у него также было много в течение последних тридцати лет его жизни; и, хотя до поры до времени они не могли перевесить того, что удерживало его при семье, тем не менее сами по себе они были очень веские.

С одной стороны, он мучительно сознавал—и чем дальше, тем мучительнее—всю несправедливость, весь грех барской обстановки его домашней жизни среди окружавшей его бедноты и никогда не прощал себе своего участия в этой обстановке. За несколько месяцев до своей смерти он, как известно, писал в своем вступлении к повести «Нет в мире виноватых»: «Сложные условия прошедшего, семья и ее требования не выпускали меня из своих тисков»; и тут же, со свойственной ему боязнью самооправдания, поспешил прибавить: «или, скорее, я не умел и не имел сил от них освободиться». Но сознавая в то время безвыходность своего положения, Л. Н. находил и хорошую сторону в том, что было ему так тяжело. «Без желания оправдания себя», говорит он там же, «и страха перед освобожденным народом, а также без зависти и озло-

бления народа к своим угнетателям, я нахожусь в самых выгодных условиях для того, чтобы видеть истину и уметь сказать ее. Может быть, для этого самого я и был поставлен судьбой в это странное положение. Постараюсь, как умею, использовать его. Хоть это, хотя отчасти облегчит мне положение».

С другой стороны, он по временам очень страдал также и от сознания того фальшивого положения перед людьми, перед крестьянами особенно, в которое ставили его внешние условия его жизни, так резко противоречившие его убеждениям. Он хорошо знал, что за его участие в этой жизни большинство людей его осуждало. Но и с этим он мирился, находя для себя духовное благо в унижении перед людьми. В «Круге Чтения» он говорит: «То, что называется юродством, т.-е. поведением, вызывающим осуждение и нападки людей... понятно и желательно, как единственная поверка своей любви к Богу и ближнему» [1]). «Осуждение людьми наших поступков», говорит он в частном письме, «если поступки ваши вызваны не вашими эгоистическими целями, а исполнением воли Бога, не только не нуждается в оправдании, но, напротив, осуждение это бывает полезно тем, что оно наверное убеждает вас в том, что то, что вы делаете, вы делаете не для славы людской, а для своей души, для Бога [2]).»

Но больше всего Л. Н-чу приходилось терпеть непосредственно от враждебного разногласия со стороны своей жены в том, что было для него всего дороже. Вражда эта часто доходила до нескрываемой ненависти к нему его жены, заставляя его по временам отчаиваться в возможности сколько-нибудь смягчить ее сердце. С годами душевный разрыв с этой стороны между ними выяснился полный. Были у Л. Н-ча периоды таких сомнений и упадка духа, что у него опускались руки, и он готов бывал бежать из дому. Об одном из таких периодов я выше упомянул. Но еще и в начале 80-х годов у Л. Н-ча бывали минуты, когда он едва мог удержаться от того, чтобы не уйти.

Так было, например, летом 1884 года. В его дневнике того времени мы находим такие записи: «Только бы мне быть уве-

---

[1]) Круг Чтения, 17 мая.
[2]) 1907 г.

ренным в себе, а я не могу продолжать эту дикую жизнь. Даже для них (его семейных) это будет польза. Они одумаются, если у них есть что-нибудь похожее на сердце... Я ничего не сказал, но мне стало ужасно тяжело». (Дневн. 5 июня ст. ст.). И несколько дней спустя он действительно хотел уйти совсем, но беременность С. А-ны заставили его вернуться половины дороги в Тулу, о чем он и записывает в своем Дневнике, прибавляя в конце дня: «Ужасно тяжело было... Напрасно я не уехал. Кажется, этого не миновать». (17 и 18 июня 1884 г. ст. ст.).

Пережив этот кризис, Л. Н. как бы заметно успокоился и с течением времени, вместе с непрекращающимся в нем ростом духовного сознания, он постепенно выработал в себе терпеливое отношение к наносимым ему оскорблениям и страданиям и выучился мириться с тяжестью своего положения, извлекая из всего переносимого им пользу для своей внутренней жизни.

Однако, как трудно это все-таки ему давалось, видно, напр., из вырвавшегося у него в конце жизни признания в беседе с навестившим его 21 октября 1910 г. другом его, крестьянином М. П. Новиковым: «Я ведь от вас никогда не скрывал, что я в этом доме киплю, как в аду, и всегда думал и желал уйти куда-нибудь в лес, в сторожку, или на деревню к бобылю, где мы помогали бы друг другу. Но Бог не давал мне силы порвать с семьей, моя слабость, может быть грех, но я для своего личного удовольствия не мог заставить страдать других, хотя бы и семейных...»

В течение этого последнего времени все то тяжелое, что было в отношениях Л. Н-ча с С. А-ной и что наростало десятками лет, стало развиваться с усиленной быстротой. В этот короткий, но страшно содержательный период его жизни перед его взором стало обнаруживаться в С. А-не многое такое, чего он раньше, из доброжелательства, не замечал. Первое время ему было очень трудно ориентироваться в своем усложнившемся положении и во всех тех разнообразных чувствах и стремлениях, которые вызывались в его душе. Ему приходилось не только нести свой старый, давно знакомый ему крест, но и справляться с новыми, совершенно непредвиденными испытаниями, не успевши еще выяснить, как ему следует к ним относиться.

Эти исключительно сложные условия необходимо иметь в виду для того, чтобы сколько-инубдь точно проследить душевные переживания Л. Н-ча того времени. Ему самому было тогда трудно разобраться в себе, и он прилагал величайшую осмотрительность для того, чтобы не действовать опрометчиво или преждевременно. Тем более и нам необходимо быть крайне осторожными, рассматривая те различные душевные состояния, которые в нем тогда чередовались и взаимно переплетались. К этой сложнейшей работе, происходившей в его душе, нельзя подходить ни с какими готовыми объяснениями; нельзя рубить с плеча и толковать в ту или другую сторону поведение Л. Н-ча на основании каких-либо наших личных предпочтений—семейных, религиозных, общественных или иных; и меньше всего можно руководиться сведениями и толкованиями, исходящими из той его семейной среды, самолюбие которой было так глубоко уязвлено его уходом. Для того, чтобы действительно понять Толстого и его поведение в этот самый знаменательный и трудный период его жизни, необходимо прежде всего освободить себя от малейшего пристрастия, узости и односторонности, необходимо быть готовым смотреть правде в глаза и, насколько это возможно, внимательно считаться со всеми условиями и обстоятельствами, не выхваченными разрозненно, а во всей их совокупности и во всем их сложном взаимодействии.

II.

Итак, последние месяцы, предшествовавшие уходу Л. Н-ча из Ясной Поляны, он в усиленном виде подвергался всем тем мучительным условиям, которые в течение стольких лет заставляли его стремиться прочь от семьи.

То, что происходило вокруг него в Ясной Поляне, в особенности в области управления имением, было как будто нарочно рассчитано на то, чтобы все больше и больше огорчать, оскорблять и возмущать его в самых святых его чувствах. В своих отношениях с крестьянами С. А. не только не сдерживала себя из деликатности к своему мужу, но как бы на зло ему поступала особенно несправедливо и бес-

сердечно [1]). При этом она то старалась внушать крестьянам, что действует с согласия и одобрения самого Л. Н-ча, то высокомерно заявляла им, что его заступничество не влияет на ее распоряжения. Можно себе представить, как невыразимо мучительно все это было для него. Достаточно вспомнить, как он рыдал, когда случайно наткнулся на конного объездчика, тащившего застигнутого в господском лесу яснополянского старика-крестьянина, которого Л. Н. близко знал и уважал. Хорошо понимая, что своим уходом он нисколько не улучшил бы положения крестьян, Л. Н. продолжал относиться к подобным зрелищам, как к назначенному ему тяжелому испытанию, ограничиваясь тем, что горячо протестовал при каждом возможном случае.

Так же, как на испытание, продолжал он смотреть и на фальшивое положение перед общественным мнением, в которое он был поставлен своей казавшейся солидарностью с тем, что делалось вокруг него в Ясной Поляне. По этому поводу он не только продолжал получать ругательные письма, принимавшиеся им, как полезное упражнение в смирении; но от времени до времени к нему с обличениями и увещаниями обращались и благожелатели. Характерен написанный Л. Н-чем в начале 1910 г. ответ одному незнакомому студенту, письменно уговаривавшему его покинуть его господскую обстановку: «Ваше письмо тронуло меня»,—писал Л. Н.,—«то, что вы мне советуете сделать, составляет заветную мечту мою! Что я живу в семье с женою и дочерью в ужасных постыдных условиях роскоши среди окружающей нищеты,—не переставая и все больше и больше мучает меня; и нет дня, чтобы я не думал об исполнении вашего совета».

---

[1]) В начале 80-х г.г. прошлого столетия у Л. Н-ча стало складываться его отрицательное отношение к собственности вообще и к земельной в особенности,—отношение, которое только несколько позже у него вполне выяснилось и окончательно утвердилось. От всякой собственности лично для себя он отказался в 1894 г., поступив так, как-будто он в этой области умер, а именно предоставив владение своей бывшей собственностью тем, кто считал себя его наследниками, т.-е. своей семье. После этого С. А. стала управлять яснополянским имением, а дети его поделили между собой землю и капитал. Впоследствии, Л. Н. чувствовал, как он говорил, что совершил ошибку, передав землю своим «наследникам», а не местным крестьянам, и, по желанию семьи, упрочив эту передачу юридическим актом.

Одновременно с этим усиленно обострялось и третье, самое тяжелое испытание Л. Н-ча, состоявшее в непосредственных отношениях к нему его жены. Скорбное повествование о тех, разрушивших его здоровье, душевных мучениях, которым она систематически подвергала его в течение последних месяцев его жизни, будет изложено в свое время и на своем месте. Никто не может себе представить того, что ему пришлось за это время перенести и перестрадать. Однажды, позвав Д. П. Маковицкого [1]), Л. Н. сказал ему: «Душан Петрович, пойдите к ней (С. А-не), скажите, что если она хочет моей смерти, она очень верно достигает этого» [2]).

В трогательном письме к С. А-не от 14 июля 1910 г. Л. Н., делая ей все уступки, которые считает возможными, в заключение прибавляет: «Коли ты не примешь этих моих условий доброй, мирной жизни, то я уеду... непременно уеду, потому что дальше так жить невозможно» [3]).

Понятно, что при таком положении вещей Л. Н. стал все более и более определенно предвидеть возможность того, что, в конце-концов, ему придется покинуть Ясную Поляну.

В минуту откровенности он говорил своему другу крестьянину Новикову: «Да, да, поверьте, я с вами говорю откровенно, я не умру в этом доме. Я решил уйти в незнакомое место, где бы меня не знали. А может и я впрямь приду помирать

---

[1]) Близкий друг и единомышленник Л. Н-ча—врач, словак по происхождению, живший в доме Толстых с 1904 г. В 1920 г. выехал из России на родину в Чехо-Словакию, где умер в 1921 г.

[2]) О том же читаем в дневнике Маковицкого: «Третьяго дня опять сделала сцену Л. Н—чу, повалившись Л. Н—чу в ноги и прося себе ключи от ящика в банке, где лежат дневники или завещания, и когда Л. Н. сказал, что не может, и ушел, и когда проходил под ее окнами, С. А. высунулась из окна и крикнула ему: «я выпила опий». Л. Н. побежал к ней наверх. С. А. встретила его словами: «я и не думала выпивать, я тебя обманула». Эта сцена Л. Н—ча взволновала, и он потом сказал С. А—не: «ты все делаешь для того, чтобы я ушел». У Л. Н—ча были перебои сердца и чуть ли не обморочное состояние после того, как он побежал на лестницу и в это время ужаса и волнения переживал смерть жены». (От 19 июля 1910 г.).

[3]) Из дневника Д. П. Маковицкого, готовящегося к печати под редакцией Н. Н. Гусева.

в вашу хату... Мне хочется спокойно приготовиться к смерти, а они меня расценивают на рубли. Уйду, непременно уйду». Л. Н-чу не доставало только последнего решающего толчка. В том же письме к студенту он, по поводу ухода, говорит: «Сделать это можно и должно только тогда, когда будет необходимо не для предполагаемых внешних целей, а для удовлетворения внутреннего требования духа,—когда оставаться в прежнем положении станет также нравственно невозможно, как физически невозможно не кашлять, когда нет дыхания. И к такому положению я близок и с каждым днем становлюсь ближе и ближе».

Но Л. Н. все еще не уходил и, оставаясь, продолжал подвергаться во все усиливавшихся размерах тем же самым испытаниям, которым он подвергался с 80-х годов. И не уходил он все по тем же причинам, которые сдерживали его в течение 30-ти лет. Он знал, что своим уходом он не облегчит положение местных крестьян. Из своего постыдного перед людьми положения он извлекал полезный урок смирения. Отношение к нему жены помогало развитию в нем истинной любви—к ненавидящим его душу. А потому, чем напряженнее становились, с течением времени, эти испытания, чем больнее они отражались в его душе и чем труднее становилось ему справляться с ними,—тем настоятельнее, с духовной точки зрения, выступала для него нравственная обязанность не покидать своего поста и довести до конца ту задачу самоотречения, которую он на себя принял.

III.

Для того, чтобы понять, почему отношения С. А-ны к Л. Н-чу так обострились и что именно побуждало ее обращаться с ним так жестоко,—необходимо иметь некоторое представление о том, почему около этого времени Л. Н. нашел необходимым написать завещание, предоставлявшее все его писания во всеобщее пользование.

История завещания Толстого настолько содержательна и сложна, что требует особого обстоятельного изложения. Здесь же я вкратце сообщу лишь самые необходимые сведения.

В то время, когда у Л. Н-ча, в начале 80-х годов, уже происходило духовное возрождение, но новое его отрицательное отношение к собственности не успело еще окончательно определиться,—он предоставил жене своей доверенность на издание и продажу полного собрания своих сочинений, доход с которых являлся главным источником проживаемых его семьею материальных средств. Впоследствии, когда он пришел к решительному отрицанию всякой собственности, ему, несмотря на все свои усилия, не удалось убедить С. А-ну добровольно отказаться от этого дохода и вернуть ему данную ей доверенность. Насильственно же лишать ее того, за что она так страстно держалась и что, вопреки воле Л. Н-ча, считала навсегда отданным в распоряжение семьи, он себя не признавал нравственно в праве. Эта торговля его сочинениями, производившаяся его женой противно его желанию, была, по его собственным словам, одним из самых мучительных страданий его жизни. Однако все новые свои писания, появившиеся после 81-го года и долженствовавшие еще впоследствии появляться, он тогда же освободил из-под монополии своей семьи, объявив письмом в газеты, что все желающие могут безвозмездно их перепечатывать [1]).

С. А-не пришлось поневоле подчиниться этому авторскому решению. Но всякий раз, когда вместо статей религиозно-общественного характера, не представлявших на литературном рынке той громадной ценности, какою пользовались его художественные произведения, Л. Н. брался за какую-либо работу в художественной форме,—С. А. до такой степени волновалась и так настойчиво требовала, чтобы ей было предоставлено издание нового произведения в пользу семьи, что совершенно нарушалось то душевное спокойствие Л. Н-ча, которое было необходимо ему для сосредоточенного художественного творчества. Повторяясь много раз, эти семейные сцены привели к тому, что он решил при своей жизни больше не печатать никаких художественных произведений [2]). И в этом его решении крылась истинная причина

---

[1]) См. «Приложение второе» в конце книги. № 1 и 2.

[2]) Это решение, к которому Л. Н. пришел один перед своей совестью, он хотел сохранить втайне от людей. И когда, догадавшись по некоторым признакам, в чем дело, я однажды сказал ему,

того, почему он в течение последнего периода своей жизни дал человечеству так мало в этой области.

Под конец С. А. стала совершенно откровенно заявлять, не стесняясь даже присутствием Л. Н-ча, что после его смерти, по отзывам юристов, у которых она справлялась, его отречение от литературной собственности по отношению к произведениям второго периода потеряет всякую силу, и что писания эти станут так же, как и все остальное, собственностью семьи. Кроме того, она стала настаивать на том, чтобы Л. Н. выдал ей дополнительную доверенность на запродажу вперед на продолжительное время его писаний первого периода и на право преследования судом тех, кто стал бы нарушать права литературной на них собственности [1]).

что мне известно его намерение, то он был очень заинтригован, каким образом я мог открыть его секрет.

Для объяснения того, почему это решение не издавать при жизни своих художественных писаний останавливало работу Л. Н-ча над ними, необходимо указать на то, что он имел обыкновение главную обработку своих первоначальных черновых изложений производить по корректурным гранкам, получаемым из типографии перед печатанием. Кроме того, если бы он даже и не печатал своих новых художественных писаний, но только работал бы над ними в рукописях, он все также продолжал бы подвергаться тем же настойчивым домоганиям со стороны С. А-ны, которые так нарушали его покой и сосредоточенность над своей работой. (С. А. говорила мне, что она даже взяла с него обещание не давать переписывать его художественных работ никому, кроме нее).

[1]) Мне пришлось однажды быть свидетелем крайне тяжелой сцены между Л. Н-чем и его женой в связи с этим вопросом. Привожу выписку из моего дневника от 4 декабря 1908 года, описывающую это столкновение: «С. А., обращаясь к Л. Н-чу, раздраженно утверждает, что собственность всех его когда-либо написанных, неизданных сочинений принадлежит семье. Л. Н. возражает. Она бежит к себе в комнату, приносит исписанный своей рукой карманный дневник и читает оттуда свою же запись о том, что Л. Н. отдал в общую собственность только те его писания, которые *появились* после 1881 года, но не те, которые при его жизни не появлялись в печати. Л. Н. опять начинает возражать. Она его перекрикивает. Он, наконец, решительным, авторитетным тоном заставляет ее выслушать его. (Она только что говорила, что хлопочет не о себе, но что дети ее могут предъявить свои права).—Л. Н.: «Ты воображаешь, что дети наши какие-то мерзавцы, которые в самом дорогом мне захотят сделать мне противное».—С. А.: «Ну, насчет «мерзавцев» я не знаю, но...»—Л. Н. (твердо):—«Нет, дай мне дого-

Убедившись в том, что эта алчность С. А-ны в пользу семьи с течением времени только разрастается, и что она действительно способна после его смерти завладеть всеми его писаниями и лишить других издателей возможности безвозмездно печатать их; Л. Н. почувствовал себя нравственно обязанным предупредить такого рода монополизацию своих писаний. И на столько твердо он проникся сознанием того, что перед Богом и людьми он должен так поступить, что, несмотря на все, что ему из-за этого потом пришлось перенести, он в этом вопросе остался непоколебимым до самой своей смерти, вызванной теми именно душевными страданиями, которым он был из-за этого подвергнут [1]).

ворить. По-твоему выходит, что самую большую пакость, какую только возможно мне сделать,—это сделают мне дети. Больше пакости сделать мне нельзя. Ты знаешь, что у меня были основания, по которым я отказался от этих прав,—основания моей веры, и что же, ты хочешь, чтобы основы эти были лицемерием? Я отдал вам состояние, отдал сочинения прежние, оказывается, что должен отдать свою *жизнь*, — то, чем я живу. И так я ежедневно получаю ругательные письма, обвиняющие меня в лицемерии. А ты хочешь, чтобы я на самом деле стал лицемером и подлецом. Удивительно, как ты сама себя мучаешь без всякой надобности».—И он вышел из залы к себе, решительно притворив за собой дверь...» (Из ненапечатанного дневника В. Г. Черткова),

[1]) Яркий свет на то, что Л. Н-чу приходилось в этой области переживать, бросает записка его родственника, юриста, И. В. Денисенко, написанная для меня во время моей высылки из Тульской губ. в 1909 г., когда, лишенный возможности бывать в Ясной Поляне, я не знал о происходившем там. Приведу для пополнения картины несколько выдержек из этой записки:

«В июле 1909 года, когда я был в Ясной Поляне, Лев Николаевич Толстой собирался на конгресс мира в Стокгольм, против чего была Софья Андреевна. Это вызвало целый ряд недоразумений, и Софья Андреевна тогда заболела, не желая, чтобы Лев Николаевич поехал на конгресс.

Как-то она позвала меня к себе в спальню и, показавши мне общую доверенность на управление делами, выданную ей уже давно Львом Николаевичем, спросила меня, может ли она по этой доверенности продать третьему лицу право издания произведений Льва Николаевича, а главное возбудить преследование против Сергеенко и какого-то учителя военной гимназии за составление ими из произведений Льва Николаевича сборников и хрестоматий, ввиду того, что эти сборники могут причинить ей, С. А-не, большой материальный ущерб...

В Дневнике своем Л. Н. записывает (еще за год до составления завещания) следующее:

«Вчера вечером было тяжело от разговоров С. А. о печатании и преследовании судом. Если бы она знала и поняла, как она одна отравляет мои последние часы, дни, месяцы жизни. А сказать и не умею и не надеюсь ни на какое воздействие на нее каких бы то ни было слов». (12 июля 1909 г.) [1]).

Внимательно обдумавши все обстоятельства дела и воспользовавшись советами сведущих в этой области лиц, Л. Н. убедился в том, что если он действительно желает, чтобы его писания после его смерти стали свободным достоянием всех людей, то ему не обойтись без формального духовного завещания. А потому, в интересах самого дела, он ре-

---

Кажется, на другой день после этого, днем, я с женою и детьми были в парке на ягодах. Жена попросила меня зачем-то сходить во флигель. Я пошел по аллее, проходящей между цветами, и тут совершенно неожиданно встретил Льва Николаевича. Вид его меня поразил. Он был сгорбленный, лицо измученное, глаза потухшие, казался слабым, каким я его никогда не видал. При встрече он быстро схватил меня за руку и сказал со слезами на глазах:

« Голубчик, Иван Васильевич, что она со мною делает, что она со мною делает! Она требует от меня доверенности на возбуждение преследования. Ведь я этого не могу сделать... Это было бы против моих убеждений».

Затем, пройдя со мною несколько шагов, он сказал мне: «У меня к вам большая просьба, пусть только она останется пока между нами, не говорите о ней никому, даже Саше. Составьте, пожалуйста, для меня бумагу, в которой бы я мог объявить во всеобщее сведение, что все мои произведения, когда бы то ни было мною написанные, я передаю во всеобщее пользование...»

[1]) Об этом эпизоде в дневнике Маковицкого рассказывается: «С. А. в 1909 г. перед Стокгольмским конгрессом мира хотела обжаловать Ив. Ив-ча Горбунова за то, что издает «Кавказский пленник»; послала Торбу (судебного чиновника, помощника в издательстве) к адвокату. Этот спросил, на основании какого документа возбуждает С. А. жалобу.—На основании доверенности на ведение дел Л. Н-ча.—На основании этого нельзя, нужен документ о передаче прав на издательство. С. А. попросила у Л. Н-ча, он решительно отказал. Тогда С. А. пустила в ход истерику и не пустила Л. Н-ча в Стокгольм. В этом же году летом начала эту же самую роль играть очень хитро (против Черткова), представлять себя больной, чтобы вынудить у Л. Н-ча право на издательство». (14 сентября 1910 г. Кочеты).

шился прибегнуть к этому приему. Редактирование и первое издание всех его посмертных писаний он поручил мне с тем, чтобы все выпускаемое мною тотчас же становилось всеобщей собственностью. А для того, чтобы фактически обеспечить исполнение мною этой задачи, он написал на имя своей младшей дочери, Александры Львовны, формальное завещание, долженствовавшее ей дать возможность ограждать мою деятельность от всяких посягательств со стороны. Прибыль же с первого выпуска его писаний после его смерти он предназначил в первую голову на выкуп у семьи Толстых яснополянской земли для передачи ее местным крестьянам, что и было исполнено после его смерти.

Конечно, Л. Н-чу не могла не претить «юридическая» форма завещания. Но отчасти уравновешивалось это в его глазах тем, что завещание имело целью не преследование судом кого-либо в будущем, но, наоборот,—предотвращение возможности судебных исков со стороны таких лиц, которые могли бы предъявить свои права наследства на литературную собственность в писаниях Л. Н-ча, если бы не было такого завещания.

Завещательные распоряжения Л. Н-ча естественно подверглись осуждению со стороны его врагов, всегда старающихся найти непоследовательность в поступках человека, жизнепониманию которого не сочувствуют. Но, как это ни странно, в данном случае к противникам Л. Н-ча присоединились и некоторые из его не в меру усердных последователей, не стесняющиеся утверждать, что они знают лучше, чем сам Л. Н., как он должен был поступить, и даже позволяющих себе вторгаться в «святая святых» его души и решать, что действовал он, не руководствуясь своею совестью и разумением, но поддаваясь постороннему личному влиянию. А так как лицом, которому они так нелепо приписывают эту роль какого-то «сверх-Толстого», являюсь—смешно сказать—я, то это поневоле вынуждает меня прибавить здесь несколько пояснительных слов, как ни претит мне останавливать внимание читателя на моей личности.

Во всем этом деле завещательных распоряжений Л. Н-ча я руководствовался лишь тем, чтобы оказывать ему, по мере моей возможности, ту помощь, которую он у меня

просил и ожидал. Роль моя была крайне трудная: я не мог не предвидеть, что подвергнусь самым тяжелым неприятностям как со стороны тех, кто претендовал на наследство, так и тех, кто станут завидовать порученной мне в этом деле исполнительной роли. Но совесть моя была чиста, так как я искренно могу сказать, что никаких своих личных желаний не преследовал и ничего своего не искал. В назначении меня Л. Н-чем распорядителем его рукописей после его смерти я ни малейшего участия не принимал, и вытекло это естественно из желания Л. Н-ча предоставить это дело тому, кто принимал ближайшее участие в издании его писаний в течение последнего тридцатилетия его жизни. Решение его прибегнуть к завещанию было предпринято без моего ведома и во время моей вынужденной разлуки с ним,—как следствие тех обстоятельств, которые затронуты в приведенной раньше записке Денисенко. Написать «юридическое» завещание я не только не уговаривал Л. Н-ча, но даже предполагал, что он на это не согласится, и сам определенно отказался быть назначенным его «юридическим» наследником. Если же я не старался разубедить Л. Н-ча написать эту бумагу, то единственно потому, что не считал себя призванным указывать ему, как ему следует поступать, вполне доверяя добросовестности его решения, какое бы оно ни было, тем более, что я твердо знал, что вопрос касается только внешней формальности, так как исполнители его воли ни в коем случае не прибегнут к суду [1]). Окончательное содержание завещания было выработано без моего участия и в моем отсутствии; и меня настолько удивило неожиданное присоединение Л. Н-чем своих художественных произведений первого периода к назначенным им в общее пользование писаниям, что я даже напи-

---

[1]) Соответственно этому и была сделана определенная оговорка в подписанном Л. Н-чем одновременно с самим завещанием, дополнительном объяснении.

(См. приложение 2-е—полный текст «Объяснительной записки» в конце книги).

Оговорке этой Л. Н., как он мне говорил, придавал особенное значение, надеясь, что она устранит возможность недоразумений со стороны тех, по крайней мере, кто пожелает доброжелательно понять его побуждения и действительное значение написанной им формальной бумаги.

сал ему свое мнение по этому поводу, указывая на то, что семья его привыкла считать эти произведения своей неотъемлемой собственностью[1]). Точно так же и еще в нескольких других случаях Л. Н. принимал в этом деле более крайние решения, нежели я лично находил необходимым. Одним словом, мое участие во всем этом было чисто вспомогательное и исполнительное, а никак не инициативное или руководящее. И, признаюсь, я просто не понимаю, как может кто-либо, относящийся с малейшим истинным уважением к духовному сознанию Л. Н-ча, допустить мысль, что в таком серьезном деле и в тот именно последний период своей жизни, когда Л. Н. достиг наивысшего духовного подъема,—он руководствовался не своим собственным крайним разумением, но действовал по наущению или под пагубным влиянием каких-либо третьих лиц. Ведь допускать возможность этого—значит только поддерживать тех, кто утверждают, что под конец своей жизни Толстой стал безвольной пешкой в чужих руках. А мы, близко общавшиеся с ним тогда его друзья, хорошо знаем, до какой степени он, как раз наоборот, руководствовался в это столь трудное время единственно тем, что считал для себя волей Божьей. Поэтому я мог только с благодарностью за доверие и благоговением принять из рук Л. Н-ча его полномочие и посвятить свою дальнейшую деятельность прежде всего строгому и точному исполнению его воли, несмотря на все нападки и обвинения, которые из-за этого неизбежно должны были на меня посыпаться.

---

[1]) В своей статье «Две поездки в Ясную Поляну», напечатанной в «Петербургской газете», Ф. А. Страхов, посетивший по моей просьбе Л. Н-ча для переговоров по этому делу в конце октября 1909 года, сообщает о том, как он впервые узнал от Л. Н-ча об этом его решении: ...«Он сейчас же пошел в свой кабинет и увел туда с собою Александру Львовну и меня». — «Я вас удивлю своим крайним решением»,—обратился он к нам обоим с доброй улыбкой на лице.— «Я хочу быть plus royaliste que le roi». Я хочу, Саша, отдать тебе одной в с е,—понимаешь?—в с е, не исключая и того, о чем была сделана оговорка в том моем газетном заявлении».—Мы стояли перед ним, пораженные как молнией этими его словами: «одной» и «все». Он же произнес их с такой простотой, как будто он сообщал нам о самом незначительном приключении, случившемся с ним во время его прогулки».

Была еще и другая неприятная для Л. Н-ча сторона этого дела. А именно, во избежание, в связи с завещанием, всяких пререканий и раздоров, которые и сами по себе были нежелательны и создали бы для Александры Львовны, как юридической наследницы рукописей, совершенно невозможное положение в семье,—Л. Н. решил не сообщать никому о своем завещании. Хотя сохранение втайне факта существования завещания и является в таких случаях приемом довольно обычным, но Л. Н-чу это, понятно, было не по-душе, и решился он так поступить единственно потому, что не видел пред собою другого выхода [1]).

---

[1]) Была даже минута, когда эти два нежелательных условия, связанные с завещанием, т.-е. юридическая его форма и сопровождавшая его тайна—вызвали у Л. Н-ча сомнение в правильности его поступка. Сомнения эти были возбуждены в нем разговором с его другом, П. И. Бирюковым, приехавшим со стороны и мало знакомым с обстоятельствами этого сложного дела. Л. Н., отличавшийся в высшей степени трогательной податливостью ко всяким осуждениям его поведения, согласился с Бирюковым в том, что поступил, как тот утверждал, «непоследовательно», и сообщил мне об этом, оговорившись, однако, что, тем не менее, распоряжений своих не изменяет. Я, со своей стороны, вынужден был ответить ему, что в таком случае, разумеется, отказываюсь от роли будущего его доверенного по исполнению его завещательных распоряжений, так как только уверенность в том, что я осуществляю его определенное и сознательное желание могло бы служить для меня необходимой нравственной опорой при исполнении этой трудной и ответственной обязанности. При этом, согласно его просьбе, я ему напомнил те обстоятельства и соображения, которые побудили его прибегнуть к завещанию. В ответ я получил от него следующее письмо:

«Пишу на листочках, потому что пишу в лесу, на прогулке. И со вчерашнего вечера и с нынешнего утра думаю о вашем вчерашнем письме. Два главные чувства вызвали во мне это ваше письмо: отвращение к тем проявлениям грубой корысти и бесчувственности, которые я или не видал, или видел и забыл; и огорчение и раскаяние в том, что я сделал вам больно своим письмом, в котором выражал сожаление о сделанном. Вывод же, какой я сделал из письма, тот, что Павел Иванович был неправ и также был неправ и я, согласившись с ним, и что я вполне одобряю вашу деятельность, но своей деятельностью все-таки недоволен: чувствую, что можно было поступить лучше, хотя и не знаю как. Теперь же не раскаиваюсь в том, что сделал, т.-е. в том, что написал завещание, которое написано. И могу быть только благодарен вам за то участие, которое вы приняли в этом деле.

Опасения, как бы Л. Н. не составил завещания, лишающего семью литературной собственности на его писания, и послужили основной причиной столь враждебного отношения к нему С. А-ны. Поэтому-то она так и старалась, с одной стороны, вынудить у него передачу всех его писаний в полное ее распоряжение, а с другой, — непрерывным наблюдением за ним устранить возможность подписания им без ее ведома какой-либо деловой бумаги. И по этой же самой причине она прониклась такой ненавистью лично ко мне, предполагая, хотя и совершенно ошибочно, что инициатива

Нынче скажу обо всем Тане, и это будет мне очень приятно. Лев Толстой.

12 августа 1910 г.»

В своем карманном интимном дневничке от 11-го августа 1910 г. Л. Н. записал так:

«Длинное письмо от Черткова, описывающее все предшествующее. Очень было грустно. Тяжело читать и вспоминать. Он совершенно прав, и я чувствую себя виноватым перед ним. Паша был неправ. Я напишу и тому и другому».

Некоторые лица, не сочувствующие, по тем или другим причинам, завещательным распоряжениям Л. Н-ча, и в особенности те из них, которые принимали личное участие в их нарушении, до сих пор продолжают утверждать, что сам Л. Н. в конце-концов признал, что ошибся в этом деле, и сожалел, что написал завещание. В подтверждение этого они ссылаются на несколько слов, которые были записаны Л. Н-чем в его карманном дневничке во время его сомнений; но тщательно умалчивают о только что приведенной его позднейшей записи в том же дневничке.

На самом деле, конечно, этот случай с колебаниями Л. Н-ча может только служить подтверждением того, как сознательно и всесторонне он взвесил и обдумал все обстоятельства этого дела. Если бы у него ни разу не возникло никаких сомнений, то можно было бы еще допустить предположение, что ему никогда не пришлось рассматривать этого вопроса с отрицательной точки зрения, и что поэтому его отношение к нему могло быть односторонним. Но теперь мы знаем, что он не только относился критически к своему поступку, но даже одно время усомнился в его правильности. Если же даже после таких колебаний он все же подтвердил определенное свое желание, чтобы завещание оставалось в полной силе, то какое же может быть лучшее доказательство того, что это окончательное его решение выражает его действительную и вполне сознательную волю?

(См. Приложение 2-е в конце книги, содержащее краткую историю всех фазисов завещательных распоряжений Л. Н-ча и тексты этих документов.)

отказа Л. Н-ча от литературной собственности и его распоряжений в этом направлении исходит от меня.

Л. Н. с своей стороны был настолько тверд в своем решении предоставить свои писания в общее безвозмездное пользование, что собственноручно написал соответствующее завещание не один раз, а несколько раз, вследствие того, что форма написанных им бумаг все оказывалась недостаточно безупречной для обеспечения требуемой авторитетности документа. В последний раз он написал свое завещание тогда, когда С. А. наиболее бдительно за ним следила,—во время верховой прогулки в лесной глуши, предварительно пригласив туда для удостоверения своей подписи в качестве свидетелей трех лиц из кружка, живших около Ясной Поляны, в Телятенках, друзей.

Составлением этого завещания Л. Н. достиг того, что после его смерти писания его стали общим достоянием, а не собственностью его семьи. Результат этот сам по себе имеет громадное общественное значение, ибо доставил рабочему, наименее достаточному населению всех стран возможность пользоваться писаниями Толстого в наиболее дешевом виде, благодаря тому, что печатание их стало доступно какому угодно количеству издателей, конкурирующих между собою в дешевизне этих книг.

Но помимо этой чисто практической выгоды для широких масс человечества, та борьба, которая велась между Л. Н-м и его женой в связи с литературной собственностью на его писания и которая стоила ему его жизни, имела также и большое значение с идейной стороны. Она обнаружила перед глазами человечества, современного и будущего, крайне важную истину в связи с тем христианским учением о непротивлении злу насилием, которое Толстой так ярко выставил и осветил в своих писаниях. А именно, Л. Н. на деле, с полной жертвой самого себя, показал, что принцип этот вовсе не ведет, как полагают многие, к тому, чтобы беспомощно уступать злу и предоставлять ему беспрепятственно торжествовать. Непреклонно отстаивая свое отрицание литературной собственности в интересах рабочих масс человечества, Толстой на своем, явном всему миру, примере подтвердил то, что постоянно осуществляют в своей жизни менее видные так называемые религиозные «непротивленцы».

Он показал, что люди такого жизнепонимания вовсе не уступают злу, но постоянно борются со злом самым лучшим и действительным средством неучастия в нем. Он показал также, что уступать требованиям других людей из смирения и любви к ним допустимо лишь до того предела, за которым стараются заставить тебя сделать то, что противно твоей совести; и что когда требования людей переходят за этот предел, то уступать никоим образом не следует, несмотря ни на какие страдания, свои ли или тех, кого любишь.

Никакие настояния самых близких его семейных, никакие его собственные из-за этого страдания не были в состоянии заставить его в данном деле отступиться от того, что он считал себя обязанным исполнить. Возможно ли найти более убедительное подтверждение того, что Толстой признавал для себя нравственно необходимым противиться злу самым решительным образом? И вследствие такого именно своего противления злу, ему и пришлось пожертвовать своим спокойствием и своею жизнью.

В письме ко мне от 16 сентября 1910 г. Л. Н. сообщает о в высшей степени значительном своем внутреннем переживании, а именно, он говорит: «В последнее время «не мозгами, а боками», как говорят крестьяне, дошел до того, что ясно понял границу между противлением, деланием зла за зло, и противлением неуступания в той своей деятельности, которую признаешь своим долгом перед своею совестью и Богом. Буду пытаться».

Вместе с тем, по отношению к самому понятию о литературной собственности, Толстой своей необычайной искренностью и последовательностью своего образа действия помог и в особенности поможет в будущем, когда сознание людей двинется дальше вперед,—помог своей пишущей братье разобраться в этом «щекотливом» вопросе, закрывать глаза на который теперь уже стало невозможно. С течением времени у все большего и большего количества писателей станет возникать сомнение о том, не столь же ли нравственно предосудительно торговать своим словом, своей душой, как, скажем, торговать своим телом? И пример Толстого будет служить для совестливых писателей путеводной звездой при выяснении этого вопроса.

Во всем этом нельзя не признать выдающейся заслуги со стороны Толстого. И хотя он действовал так, не задаваясь мыслью о том, какое это будет иметь отражение в сознании людей, и лишь стремясь к тому, чтобы не дать себя втянуть в поступок, противный своей совести,—тем не менее этот первый отказ от литературной собственности со стороны одного из величайших мировых писателей несомненно имеет великое общечеловеческое значение.

Если в настоящем моем кратком изложении об уходе Толстого пришлось довольно подробно остановиться на вопросе о его завещании, то это потому, что вокруг этого центрального вопроса сходятся, собственно говоря, все нити тех сложных условий и обстоятельств, которые послужили причиной самого ухода. Правда, некоторые из близких Л. Н-ча старались убедить себя и других в том, что то отношение С. А-ны ко Л. Н-чу, которое сделало невозможным дальнейшее его пребывание около нее, было вызвано, главным образом, вовсе не связанными с завещанием имущественными интересами. Они приписывают поведение С. А-ны различным причинам и, больше всего, ее психически-расстроенному состоянию и болезненной, ненормальной ревности. Несмотря на то, что подобного рода освещение всего дела несомненно вызывается сердечной доброжелательностью к личности С. А-ны, тем не менее против такого толкования я сознаю своею обязанностью самым решительным образом возразить в интересах истины, которая здесь, как и везде, важнее всего. Не следует скрывать от себя то, что имеется более, чем достаточное, количество данных, подтверждающих, что С. А-на в этом случае действовала прежде всего и больше всего под влиянием чувств и соображений, непосредственно касающихся именно имущественного благополучия ее обширной семьи, состоявшей, как она постоянно напоминала, с ее детьми и внучатами из 28 душ. И обстоятельство это необходимо иметь в виду для того, чтобы верно понять отношение Л. Н-ча к вопросу о своем завещании.

Истинная любовь к людям, все равно, к умершим или к живым, не в том заключается, чтобы скрывать от себя и от других их ошибки и недостатки,—а в том, чтобы при всех нежелательных свойствах, которых у каждого из нас имеется

достаточное количество, уметь относиться друг к другу с состраданием и терпимостью, сознавая, что каждый за всех виноват. Тогда мы не будем стараться обходить, не замечая, или замазывать щели снаружи, но будем, наоборот, их обнаруживать для того, чтобы возможно было общими усилиями их заделывать и скреплять.

Вышеуказанные обстоятельства и мотивы в связи с завещательными распоряжениями Л. Н-ча относительно своих писаний необходимо иметь в виду для того, чтобы верно представить себе его положение в семье в период, непосредственно предшествоваший его уходу. Знакомство с этими обстоятельствами и побуждениями дает возможность понять истинный характер отношений, сложившихся между Л. Н-м и той, с которой он был связан целых 48 лет и из любви и жалости к которой он готов был жертвовать всем, но только не совестью.

IV.

Среди неописуемо мучительных условий ясно-полянской жизни того периода единственными промежутками свободы и отдохновения, которыми мог пользоваться Л. Н., доставлялись ему теми редкими случаями, когда ему удавалось уезжать на неделю - другую в гости к кому-нибудь из наиболее близких лиц. Так, в течение последнего года своей жизни он побывал раза по два у своей дочери Татьяны Львовны, в Мценском уезде, и у меня во время моей высылки из Тульской губернии,—первый раз под Москвой, в Крекшине, Звенигородского уезда, а потом в Мещерском, Серпуховского уезда. Но удавалось ему совершать эти поездки очень редко и с большим трудом, так как С. А. всячески противилась им, а если, несмотря на это, он решался на поездку, то бывало и так, что в последнюю минуту и она присоединялась к нему, что, разумеется, уничтожало главную цель поездки.

Помню, как, приехав к нам оба раза, Л. Н. имел вид крайне удрученный, изнуренный, болезненный и как заметно, на наших глазах, он воскресал телом и оживал душой. Уже на второй, третий день спокойной жизни в кругу единомысленных друзей, соблюдавших его душевный покой и

уважавших его полную самостоятельность,—он совершенно изменялся: с него как будто спадала какая-то подавлявшая его, мучительнейшая тяжесть. Выражение лица его просветлялось. Движения — становились бодрыми. С утра он много часов под ряд сосредоточенно работал над своими писаниями, удивляя нас всех количеством исписанных листов, которые он потом передавал нам для переписки. Во время обычных своих прогулок он ходил так быстро и далеко, что трудно было за ним угнаться людям много моложе его. С посетителями, самыми разнообразными, которых к нему всегда стекалось много и от которых у нас никто его не отгораживал, как бывало у него дома,—он, в свободное время, вел оживленные беседы, приходя таким образом в непосредственную связь с окружающим миром. В беседах с друзьями никто не прерывал его и не перечил ему на каждом шагу, чему он дома постоянно подвергался. И потому общение с окружающими здесь доставляло ему радостное душевное отдохновение. По всему было видно, какой громадный запас жизненных сил хранился еще в нем; ясно было, что, при правильных, благоприятных условиях он мог еще много лет деятельно прожить на радость и пользу человечеству.

Внутреннее душевное оживление особенно наглядно при этом сказывалось у Л. Н-ча в том, что его с каждым днем все более влекло к художественному творчеству. Сначала он записывал в лицах характерные встречи и разговоры, происходившие во время его прогулок. А перед своим от'ездом каждый раз с бодрым оживлением говорил мне, что у него напрашиваются и складываются в душе большие, чисто художественные работы, за которые он надеется теперь приняться. Но замыслам этим не суждено было осуществляться, так как при его возвращении в Ясную Поляну возобновлялись для него те указанные раньше тяжелые условия, с которыми несовместима была никакая спокойная художественная работа.

Вообще, разница между его состоянием, как телесным, так и душевным, при приезде к нам и от'езде от нас была поразительная. Помню, как я встретился с ним в саду к самому концу его последнего пребывания у нас в Мещерском, куда он приехал почти в полном изнеможении. Он шел быстро, вид у него был замечательно бодрый, помоло-

девший на много лет. Он с оживленным недоумением приветствовал меня словами: «Не понимаю, что это в вашей пище; но когда поживу у вас, то каждый раз желудок мой приходит в полную исправность». Известно, что для человека, страдающего неисправным пищеварением, наилучшие условия—это простая, неизысканно приготовленая пища, примененная к его потребностям, и, главное, ровная, безмятежная душевная атмосфера всей домашней жизни. Но Л. Н. был так мало требователен относительно внимания других к его нуждам и вкусам, так мало значения придавал он для себя влиянию внешней обстановки, что ему как будто и не приходило в голову поставить в связь состояние своего здоровья с окружающими его условиями.

V.

Последний, самый мучительный для Л. Н-ча период его пребывания в Ясной Поляне начался с июня 1910 г., когда он, находясь в гостях у меня на даче (в Мещерском, Московской губернии), был внезапно вызван обратно в Ясную Поляну телеграммой Софьи Андреевны, сообщавшею об ее заболевании, как потом оказалось, притворном.

По возвращении его в Ясную Поляну С. А. обставила его жизнь новыми стеснениями, окончательно лишившими его даже той ограниченной доли личной свободы, которою он до того времени пользовался. Признаваемые ею раньше часы его письменной работы она перестала принимать в соображение и своими постоянными вторжениями и сценами совершенно лишила его возможности заниматься тем литературным трудом, в котором он сознавал свое служение людям. В его ежедневных прогулках, являвшихся единственным его развлечением и отдохновением, она стала мешать ему ехать туда, куда ему хотелось, и брать с собой тех, кого ему хотелось. Она настаивала на том, чтобы он совершенно перестал видеться с теми из самых близких его друзей, мнимого влияния которых на него она боялась. Даже в домашних пределах она подвергала все его действия и разговоры неотступному контролю, не гнушаясь для этой цели самыми беззастенчивыми приемами, как, напр., подслушива-

нием, разувшись, за дверьми, и вообще следя неотступно день и ночь за каждым его движением. Она, как было уже указано, требовала от него такой доверенности на пользование его сочинениями, по которой имела бы возможность прибегать к суду и вперед запродать на продолжительный срок право издания этих сочинений. Опасаясь того, что он мог написать в своем дневнике, она старалась запретить ему передавать кому бы то ни было тетради дневника, даже тем, кому он поручал те или иные работы в связи с ними или у кого он желал, чтобы они для большей верности хранились. Она тайно похищала у него из карманов те интимнейшие его дневнички, которые он вел и держал при себе в особенно тяжелые периоды своей жизни и тщательно оберегал от человеческого глаза. Она не только не скрывала от него и от других своего недоверия и своей—страшно сказать—ненависти к нему, но откровенно, во всеуслышание, высказывала эти свои чувства, часто выражая их ему в такой резкой форме, что вызывала в нем сердечные припадки и даже обмороки. Она ревновала или делала вид, что ревнует его к некоторым из ближайших его друзей, связанных с ним наиболее тесным духовным единением. При этом она высказывала опять-таки и окружающим, и посторонним, и самому Л. Н—чу такие невообразимо гнусные подозрения, которые язык не поворачивается повторять, и этим доводила Л. Н—ча почти до полного изнеможения, заставляя его ограждаться от нее и запирать на замок все двери своей комнаты.[1]) И при

[1]) Ближайшие ко Л. Н-чу его домашние, а именно — А. Л. Толстая, Д. П. Маковицкий и В. М. Феокритова были убеждены в том, что ненависть ко мне С. А-ны была притворная, о чем, напр., свидетельствует следующая выписка из дневника Маковицкого:

«Я сегодня на прогулке верхом (со Л. Н-чем), думая о поведении С. А-ны с 24-го июня, пришел к заключению, что и ревности у нее к Черткову в действительности и не было и нет. С. А-на выказывала ее только для того, чтобы отдалить его от Л. Н-ча, т.-е. чтобы Чертков не имел влияния на Л. Н-ча; она ведь приписывала влиянию Черткова то, что Л. Н. хочет отдать свои сочинения во всеобщее пользование...

А как она умела играть эту роль и обмануть Л. Н-ча, Черткова, Татьяну Л-ну, меня (мы все были уверены, что она ревнует Черткова). Я это высказал сегодня, а Варвара Михайловна и Александра Львовна ответили мне, что они давно это заметили (что ревности не было), и так и записали в свои дневники». (13 октября 1910 г.)

всем этом она всячески препятствовала тем, даже самым кратковременным, его от'ездам из Ясной Поляны куда нибудь в гости, которые могли доставить ему возможность хоть немного передохнуть от домашней атмосферы и набраться свежих сил для перенесения дальнейших испытаний.

Все эти требования и многие другие, подобные им, С. А. предъявляла Л. Н—чу не на словах только, но и вслучае его отпора старалась всем своим поведением заставить его против его воли подчиниться ей. Для этого она прибегала к симуляции истерии и сумашествия, грозила самоубийством, делала вид, что выпьет или выпила яд, выбегала полуодетая в ненастье или ночью на двор, заставляя себя искать по всему парку, во всякое время дня и ночи вбегала к нему, даже тогда, когда он, в конец изнуренный, засыпал, и будила его с целью вымучить у него нужные ей уступки. Не перечислить всех тех невыразимо жестоких приемов, к которым она, не стесняясь, прибегала ради того, чтобы насильно заставить его исполнить ее требования. А когда ее семейные говорили ей, что таким поведением она убьет его, то она холодно отвечала, что душа его давно уже для нее умерла, а тело его для нее безразлично. И если спрашивали ее, что она будет делать и чувствовать, если он, действительно, умрет от ее обращения с ним, то говорила: «Поеду, наконец, в Италию: я там никогда не была».

Л. Н., со своей стороны, с поразительным смирением старался удовлетворить всем тем ее желаниям и исполнять все те ее требования, которые не противоречили его совести. Бывали случаи, когда он, не считая их разумными, сначала не соглашался, но при ее неотступной настойчивости и применении ею тех приемов, к которым она обычно прибегала, он даже и в этих случаях часто уступал, одно время считая ее действительно душевно больной женщиной и вообще опасаясь того, чтобы в минуту исступления она на самом деле чего-нибудь над собой не сделала.

Непоколебим в своем отпоре он бывал только тогда, когда по совести считал, что не должен уступить. Так, несмотря на все домогательства и ухищрения С. А—ны, завещание свое он все-таки написал и до конца не отменил; доверенности для судебных преследований ей не дал; дневников

своих ей не предоставил, а отдал в сохранное место (в Тульский банк). Но так как ей, для своих целей, больше всего нужно было то самое, чего он не считал возможным ей уступить, то с этими именно требованиями она больше всего на него и налегала. Таким образом, все уступки его, вместо того, чтобы сколько-нибудь ее умиротворить, только поощряли ее к еще более настойчивой требовательности, еще более жестоким приемам давления на него.

VI.

Понятно, что никакое здоровье не могло бы выдержать этих, длившихся несколько месяцев под ряд, истязаний, не уступавших, можно сказать, пыткам инквизиции и превосходивших их по своей непрерывности и продолжительности. И действительно, вернувшись в Ясную в бодром и прекрасном состоянии здоровья, Л. Н. в этот кошмарный период последних месяцев своей жизни стал быстро таять на наших глазах: он в несколько недель неузнаваемо постарел и осунулся, ослабел, похудел, побледнел и несколько раз за эти месяцы подвергался обморочному состоянию [1]). Ко дню своего ухода он представлял только тень самого себя: сердце, нервы, все силы его были в конец подкошены, и, разумеется, при этих условиях малейшее заболевание должно было его совсем унести, что и случилось при первой простуде, которой он случайно подвергся тотчас после своего ухода из Ясной Поляны.

---

[1]) По совету всех семейных и друзей Л. Н. в сентябре уехал к дочери Т. Л, Сухотиной (в Кочеты), чтобы отдохнуть от семейных сцен. Но Софья Андреевна и там не оставила его в покое. В дневнике Маковицкого читаем мы следующую запись:

«С, А. (сегодня) неистовствует уже третий день. Л. Н. посылал меня несколько раз к ней; утром была у себя в комнате, продолжала жаловаться на головную боль и говорит, что третий день как не ест; днем убегала в сад,.,

С. А. весь день пропадала одна в парке. Л. Н. посылал меня за ней.

— Ох, Д. П., все хуже и хуже; все это, все идет к худшему. С. А. настаивает, чтобы уехать с ней. А я решительно не могу это сделать, потому что ее требования идут все crescendo и crescendo. Ох, не знаю, что делать!» (11 сентября 1910 г. Кочеты).

Все поведение С. А—ны в течение этих последних месяцев их совместной жизни обнаружило Л. Н—чу в ней многое, чего он раньше не замечал. Ему пришлось не только поколебаться в своей заветной мечте растопить ее сердце своей всепрощающей любовью; но он стал сомневаться даже в том, приносит ли ей пользу или вред его пребывание около нее, и не правы ли были врачи, в ее интересах советовавшие им жить врозь. А к концу он убедился в том, что, действительно, присутствие его прямо служит для нее соблазном, вызывая и усиливая в ней самые худшие стороны ее характера. Говоря о своем уходе за неделю до этого события все с тем же Новиковым, Л. Н. сказал: «Для себя одного я этого не делал, не мог сделать; а теперь вижу, что и для семейных будет лучше, меньше у них будет из-за меня спору, греха».

Другая причина, раньше удерживавшая его от ухода, заключалась в том, что он считал для своей собственной души полезным то напряженное испытание, которому он постоянно подвергался около своей жены, и находил в этом духовное удовлетворение. Но под конец С. А., как она однажды выразилась после его смерти, «пересолила» в своем обращении с ним, поставив его уже в такое положение, что вместо удовлетворения он стал испытывать то сознание неловкости и стыда, которое бывает, когда участвуешь в чем-нибудь неподобающем, недостойном. За два дня до своего ухода он писал мне: «Я чувствую что-то недолжное, постыдное в моем положении». И в письме к Александре Львовне на другой день после ухода он говорит: «Не испытываю того стыда, той неловкости, той несвободы, которую испытывал всегда дома». В последнем своем письме к С. А-не уже из Шамардина, он еще более определенно заявляет, что вернуться к ней, когда она в таком состоянии, значило бы отказаться от жизни; и сделать это он не считает себя в праве. Так что даже для своей собственной души он уже не только не считал полезным, но, наоборот, признавал нежелательным дальнейшее свое пребывание около С. А—ны.

В течение последних лет колебания его усиливались с каждым днем, и он по временам казался совсем на отлете [1]). Останавливало его только то, что он не чувствовал себя еще

---

[1]) См. Приложение 4-ое в конце книги.

охваченным тем неудержимым порывом, который, как он это хорошо сознавал, бывает необходим для того, чтобы приступить к такому решительному шагу не разсудочным только образом, но от всей души, уверенно и неизбежно. А пока не было этого порыва, и он более или менее хладнокровно взвешивал обстоятельства за и против своего ухода,—для него оставалось в своей силе то соображение, что лично для него уйти было бы облегчением, а в том, чтобы остаться, было больше самоотречения. Так мне говорили, что за два дня до своего ухода, когда он объявил своему старому другу, старушке Марье Александровне Шмидт (впоследствии, к слову сказать, вполне понявшей и одобрившей его уход), что думает покинуть Ясную, и она на это воскликнула: «Душенька, Л. Н., это у вас пройдет, ведь это минутная слабость», то он поспешил ответить: «Да, да, я знаю, что это слабость, и надеюсь, что пройдет».

Так что, несмотря на то, что Л. Н—чу теперь уже обнаружился новый фазис в отношениях к нему С. А—ны, который в сущности устранял целесообразность его пребывания около нее и оправдывал его уход, так как присутствие его становилось вредным для нее и непроизводительным для него, тем не менее он все еще медлил, опасаясь действовать преждевременно и как бы дожидаясь последнего, решающего толчка.

И толчек этот не замедлил наступить с поразительной резкостью.

VII.

Случилось это в ночь с 27-го на 28-е октября.

В то время, когда предполагалось, что Л. Н. спит, он, лежа в постели, услышал и увидел сквозь щели своей двери, как С. А., тихо прокравшись в его кабинет, обыскивала бумаги на его письменном столе. Затем она, вернувшись к себе и заметив свет в его комнате, вошла к нему в спальню и стала с заботливым видом осведомляться об его здоровье. Это хладнокровное притворство с ее стороны сразу, повидимому, разрушило последние иллюзии Л. Н—ча. Еще только за несколько дней перед тем он умилялся тому, с какой заботливостью С. А., также вошедши ночью в его

спальню, закрепляла, взобравшись на стул, не плотно притворенную форточку в его окне. Теперь он вспомнил, что слышал шорох в своем кабинете и в предыдущие ночи, и ему внезапно раскрылась действительная цена этих забот С. А—ны о нем. Случай обнаружил перед ним ту ужасную, систематическую комедию, которая разыгрывалась изо дня в день вокруг него и в которой ему приходилось бессознательно играть центральную роль.

В дневнике своем он так описывает то, что пережил в эту ночь:

«Лег в половине 12, спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как в прежние ночи, услыхал отворяние дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это С. А. что-то разыскивает, вероятно, читает. Накануне она просила, требовала, чтобы я не запирал дверей. Ее обе двери отворены, так что малейшее мое движение слышно ей. И днем и ночью все мои движения, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, осторожное отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяется дверь, и входит С. А., спрашивая «о здоровье» и удивляясь на свет у меня, который она видела у меня. Отвращение и возмущение растет. Задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Пишу ей письмо, начинаю укладывать самое нужное, только бы уехать. Бужу Душана, потом Сашу, они помогают мне укладываться».

Как рассказывала Александра Львовна, она со своей подругой, Варварой Михайловной (переписчицей) в эту ночь не спали. Ей все мерещилось, что кто-то ходит, разговаривает наверху. Она боялась, что между отцом и матерью происходят объяснения. Они заснули к утру, но скоро услышали стук в дверь. А. Л. подошла к двери, отворила ее.

— Кто тут?—спросила она.

— Это я, Лев Николаевич... Я сейчас уезжаю... Совсем... Пойдемте, помогите мне уложиться.

А. Л. говорила потом, что никогда не забудет его фигуры в дверях, в блузе, со свечей в руках и светлым, светлым лицом, решительным и прекрасным.

Спеша удалиться, Л. Н. опасался только одного: как бы не настигла его С. А. раньше, чем он успеет уехать, и не было бы этим нарушено спокойное осуществление его бесповоротного решения.

«Я дрожу», продолжает он в своем дневнике, «при мысли, что она услышит, выйдет сцена, истерика и уже впредь без сцены не уехать. В 6-ом часу все кое-как уложено, я иду на конюшню велеть закладывать, Душан, Саша, Варя доканчивают укладку. Ночь—глаза выколи, сбиваюсь с дорожки к флигелю, попадаю в чащу, накалываюсь, стукаюсь о деревья, падаю, теряю шапку, не нахожу, насилу выбираюсь, иду домой, беру шапку и с фонарем добираюсь до конюшни, велю закладывать. Приходят Саша, Душан, Варя. Я дрожу, ожидая погони. Но вот уезжаем. В Щекине ждем час и всякую минуту жду ее появления, но вот сидим в вагоне, трогаемся. Страх проходит, и поднимается жалость к ней, но не сомнение, сделал ли то, что должно. Может быть, ошибаюсь, оправдывая себя, но кажется, что я спасал себя не Л. Н-ча, а спасал то, что иногда хоть чуть-чуть есть во мне».

VIII.

После своего ухода Л. Н. ни на минуту не раскаивался в том, что сделал, и не допускал мысли о своем возвращении к С. А—не. Когда дочь его, А. Л., несколько дней спустя, спросила его, может ли он пожалеть о своем поступке, он ответил: «Разумеется, нет. Разве может человек жалеть о чем-нибудь, когда он не мог поступить иначе».

А почему он не мог поступить иначе—он высказал ей же в своем письме от 29 октября:

«... Мне с этим подглядыванием, подслушиванием, вечными укоризнами, распоряжением мной, как вздумается, вечным контролем, напускной ненавистью к *самому* близкому и нужному мне человеку, с этой явной ненавистью ко мне и притворством любви... такая жизнь мне не неприятна, а прямо невозможна,—если кому-нибудь топиться, то уж никак не ей, а мне... Я желаю одного: свободы от нее, от этой лжи, притворства и злобы, которой проникнуто все ее существо... Все ее поступки относительно меня не только не

выражают любви, но как будто имеют явную цель убить меня...»

Слова эти вырвались у Л. Н—ча, как неудержимый крик истерзанной души у человека, долгими годами привыкшего таить в себе самые глубокие и мучительные свои страдания. А потому, в кои веки дав волю своей потребности высказаться любимой дочери, он тотчас же спешит оговориться: «Видишь ли, милая, какой я плохой. Не скрываюсь от тебя» [1]).

Письмо это важно для нас, друзей Л. Н—ча, тем, что оно поднимает уголочек той завесы, которой он, последние десятилетия своей жизни, так тщательно скрывал от человеческого взора испытываемые им внутренние муки. Не будь этого «человеческого документа», можно было бы подумать, что, достигнувши той удивительной высоты духовного просветления, которая отличала его в последний период его жизни, Л. Н. был тем самым избавлен от возможности чувствовать обиду и испытывать душевную боль. Теперь же мы знаем, что если в своем дневнике, в своей переписке и в беседах с друзьями он большей частью и воздерживался от всяких жалоб на тяжесть своего положения, предпочитая отмечать свои собственные ошибки и слабости, то делал он это никак не потому, что был в это время свободен от общечеловеческого свойства чувствовать наносимую ему боль. Мы теперь видим, что до самого конца своих дней он не переставал быть для нас, людей обыкновенных, товарищем, способным испытывать те же самые обиды и страдания, как и мы. С этой стороны мы должны быть благодарны судьбе, на одно мгновение разоблачившей перед нами в этом письме ту глубокую душевную рану, которую Л. Н. унес с собой, покинувши жену.

Но вместе с тем было бы совершенно ошибочно заключить, что, оставивши С. А—ну, он сохранил к ней дурное чувство и не в силах был ее простить. Напротив того, почти одновременно с приведенным письмом к своей дочери, он на-

---

[1]) Позволяю себе цитировать это письмо, не испросив на то разрешение Александры Львовны, единственно потому, что оно без нашего ведома уже появилось в печати в историческом журнале «Дела и дни» (Петербург, 1920 г.) и что, в связи с остальным изложением настоящей книги, оно здесь получает менее односторонее освещение.

писал своей ене такое трогательное, сердечное письмо, которое не оставляет ни малейшего сомнения в его истинной любви к ней. На следующий затем день он писал своим двум старшим детям, прося их успокоить их мать и высказывая им, что он испытывает к ней самое искреннее чувство сострадания и любви. И он не только жалел С. А—ну, но у него было столько истинной любви к ней, что он мог от чистого сердца простить ее и сам просить у нее прощения.

Вообще последние письма Л. Н—ча к своей жене, которые, кстати сказать, были ею опубликованы [1]), ярко обнаруживают некоторые характерные особенности в его отношениях к ней во время самого последнего периода их совместной жизни.

Самая выдающаяся особенность—та, что, несмотря на переживавшийся тогда Л. Н—м мучительнейший кризис в его семейных отношениях,—его ни на одну минуту не покидала обычная его крайне деликатная предусмотрительность в обращении с С. А-ой. Вследствие этого, сообщая ей причины своего ухода, он без надобности не касается тех своих побуждений, которые были ей неприятны. Обходя их, насколько возможно, он, главным образом, подчеркивает те свои мотивы, которые имели общий характер и не задевали ее самолюбие. О том же, в чем она была виновата перед ним, он упоминает лишь тогда, когда это совсем необходимо, и касается он этих вопросов как можно мягче и осторожнее.

Приведу те из этих писем, которые непосредственно касаются его ухода, начиная с написанного еще за 13 лет до самого ухода, когда он собирался покинуть семью, но не сделал этого. Это письмо он поручил передать своей жене после своей смерти, что и было исполнено [2]).

I.

«8 Июня 1897 г.

«Дорогая Соня,

«Уже давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не мог, уйти

---

[1]) См.: «Письма к жене». Изд. С. А. Толстой. 1915 г. Москва.

[2]) См. «Приложение третье» в конце книги.

от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хоть того малого влияния, которое я мог иметь на них, и огорчу вас; продолжать же жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к которым я привык и которыми я окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать—уйти, во-первых, потому, что мне с моими увеличивающимися годами все тяжелее и тяжелее становится эта жизнь и все больше и больше хочется уединения, и, во-вторых, потому, что дети выросли, влияние мое уже в доме не нужно, и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным мое отсутствие.

«Главное же то, что, как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому религиозному старому человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, тенису, так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, с своей совестью.

«Если бы я открыто сделал это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы ослабел, может-быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделает вам больно, и в душе своей, главное ты, Соня, отпусти меня добровольно и не ищи меня и не сетуй на меня, не осуждай меня.

«То, что я ушел от тебя, не доказывает того, чтобы я был недоволен тобой. Я знаю, что ты не могла, буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь изменить своей жизни и приносить жертвы ради того, чего не сознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а—напротив—с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты с свойственной твоей натуре материнским самоотвержением так энергично и твердо несла то, к чему считала себя призванной. Ты дала мне и миру то, что могла дать—дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это. Но в последнем периоде

нашей жизни—последние 15 лет мы разошлись. Я не могу думать, что я виноват, потому что знаю, что изменился я ни для себя, ни для людей, а потому что не мог иначе. Не могу и тебя обвинять, что ты не пошла со мной, а благодарю и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне.

Прощай, Дорогая Соня.

Любящий тебя Лев Толстой.

2.

«28 октября 1910 г. (Я. П.).

«Отъезд мой огорчит тебя, сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится—стало невыносимо. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста—уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни. Пожалуйста, пойми это и не езди за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения.

«Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобою, так же как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мною. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой от'езд, и не иметь против меня недоброго чувства.

«Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я, и перешлет мне что нужно, сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с нее обещание не говорить этого никому».

3.

«31 октября 1910 г. Шамардино.

«Свидание наше и тем более возвращение мое теперь совершенно невозможно. Для тебя это было бы, как все говорят, в высшей степени вредно, для меня же это было бы

ужасно, так как теперь мое положение, вследствие твоей возбужденности, раздражения, болезненного состояния стало бы, если только это возможно, еще хуже. Советую тебе помириться с тем, что случилось, устроиться в своем новом на время положении, а главное—лечиться.

«Если ты не то, что любишь меня, а только не ненавидишь, то ты должна хоть немного войти в мое положение. И если ты сделаешь это, то ты не только не будешь осуждать меня, но постараешься помочь мне найти тот покой, возможность какой-нибудь человеческой жизни, помочь мне усилием над собой и сама не будешь желать теперь моего возвращения. Твое же настроение теперь, твое желание и попытки самоубийства более всего другого доказывают твою потерю власти над собой и делают для меня теперь немыслимым мое возвращение. Избавить от испытываемых страданий [1]) всех близких тебе людей, меня и главное самое себя никто не может, кроме тебя самой.

«Постарайся направить всю свою энергию не на то, чтобы было все то, чего ты желаешь,—теперь мое возвращение,—а на то, чтобы умиротворить себя, свою душу, и ты получишь, чего желаешь.

«Я провел два дня в Шамардине и Оптиной Пустыни и уезжаю. Письмо пошлю с пути. Не говорю, куда еду, потому что считаю и для тебя и для меня необходимым разлуку. Не думай, что я уезжаю потому, что не люблю тебя: я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю.

«Письмо твое, я знаю, что писано искренно, но ты не властна исполнить то, что желала бы. И дело не в исполнении каких-нибудь моих желаний, требований, а только в твоей уравновешенности, спокойном, разумном отношении к жизни. А пока этого нет, моя жизнь с тобой немыслима. Возвратиться к тебе, когда ты в таком состоянии, значило бы для меня отказаться от жизни. А я не считаю себя в праве сделать это.

«Прощай, милая Соня, помоги тебе Бог. Жизнь не шутка, и бросать ее по своей воле мы не имеем права, и мерить ее

---

[1]) Слова «от испытываемых страданий» у С. А—ны выпущены в ее издании «Писем» без обозначения пропуска многоточием

по длине времени тоже неразумно. Может-быть, те месяцы, которые нам осталось жить, важнее всех пережитых годов, и надо прожить их хорошо».

И по тому трогательному интересу, который Л. Н. проявлял после своего ухода ко всему, что касалось С. А-ны, с величайшим волнением и заботливостью распрашивая всех о ней,—совершенно ясно, что—если он по совести и признавал невозможным дальнейшую с ней совместную жизнь—зато в душе у него было полное примирение с нею.

IX.

Для нас, ближайших друзей Л. Н-ча, следивших шаг за шагом за тем, что происходило в Ясной Поляне в последние дни его пребывания там, вполне понятно, почему он не мог поступить иначе, чем уйти. Но читатель, не столь близко знакомый со всеми обстоятельствами, может спросить: почему собственно поведение С. А-ны в последнюю ночь так сильно подействовало на Л. Н-ча? Что совершила она тогда нового, такого, чего нельзя было ожидать от нее, судя по предыдущему ее поведению?

Конечно, поведение С. А-ны в эту ночь послужило только последним толчком к уходу Л. Н—ча. По существу же вопрос об уходе в душе Л. Н-ча был уже решен, но, как мне кажется, он, как бы инстинктивно, ждал только необходимого окончательного импульса для приведения своего намерения в исполнение. И ключ к пониманию тогдашнего душевного состояния Л. Н-ча, думается мне, кроется в тех словах, которыми он закончил запись в дневнике о своем уходе: «Кажется, что спасал себя, не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда хоть чуть-чуть есть во мне». Слова эти—удивительные по своему трогательному смирению в устах человека, душа которого переполнена была отражением Высшего Начала,—вместе с тем знаменательны по тому свету, который они бросают на наиболее глубокие мотивы его ухода.

В словах этих чувствуется опасение—при наступивших условиях—лишиться той духовной самостоятельности, которая необходима для охранения неприкосновенности сво-

его «святая святых»,—опасение лишиться возможности противодействия неотступным натискам со стороны,—что вполне естественно могло бы наступить при глубокой старости Л. Н-ча и постепенном ослаблении его физических сил за последнее время.

Не следует забывать и того, что он к этому времени уже успел убедиться в совершенной ненужности, даже нежелательности своего дальнейшего пребывания около С. А-ны и что поэтому те различные побуждения к уходу, которые он раньше так старательно сдерживал в своей душе, теперь получили полную свободу. Мучительное сознание господской обстановки своей жизни среди окружающей нищеты, потребность спокойствия и уединения перед смертью и много других причин стали беспрепятственно клонить в одну и ту же сторону.

Чаша, таким образом, была уже полна, и не доставало только последней капли. И вот в это-то время как раз и раскрылось для Л. Н-ча то новое в поведении его жены, что послужило недостающим последним толчком к его уходу.

Новым для Л. Н-ча было его внезапное открытие той атмосферы лжи и притворства, в которую он увидал себя впутанным. Он неожиданно оказался невольным свидетелем того, как С. А., когда она думала, что он спит, тайно прокрадывалась к его бумагам; как она же, лишь только узнала, что он не спит, тотчас же, как ни в чем не бывало, стала выражать заботу о его здоровье. Глаза его сразу раскрылись, и он увидел то, что было уже давно известно ближайшим его друзьям, но чего сохранявшийся еще в его душе остаток доверия и уважения к своей жене не позволял ему и в мыслях допустить, а именно—что она с ним *играет комедию*.

Вместе с этим открытием все сразу для Л. Н-ча изменилось, как и не могло быть иначе. Нужды нет в том, что случай, раскрывший ему глаза, может сам по себе казаться и не из самых значительных. Для супругов, проживших вместе 50 лет, первый случай, обнаруживающий притворство одного из них—всегда значителен. Случай этот сразу осветил для Л. Н-ча совершенно по-новому все то, что происходило между ним и С. А-ной. До тех пор он полагал, что имеет дело с искренним эгоизмом и недоброжелательством, с откровенным своеволием, с природной грубостью и с болезненной

ненормальностью. И, отвечая на это неотступной кротостью, терпением и любовью, он сознавал, что поступает, как должно, и потому чувствовал внутреннее удовлетворение. Теперь же все это перевернулось для него вверх ногами. Прежде положение было ясное: перед ним было определенное зло, которое налагало на него столь же определенную обязанность отвечать на зло добром. Теперь же ему приходилось иметь дело с какой-то путаницей, в которой было столько лжи, что невозможно было разобрать, где кончается настоящее, где начинается притворство. Так что вместо прежнего удовлетворения в сознании исполнения своего долга, Л. Н. вдруг почувствовал то двусмысленное положение, в котором он оказался. Так, по крайней мере, объясняю я себе причины того крайнего волнения, которое Л. Н. испытал при своем окончательном решении уйти.

Правда, он и раньше знал о неискреннем поведении С. А-ны. За месяц до своего ухода Л. Н. писал о С. А-не в своем дневнике: «Не могу привыкнуть смотреть на ее слова, как на бред. От этого вся моя беда. Нельзя говорить с ней, потому что для нее необязательна ни логика, ни правда, ни сказанные ею же слова, ни совесть. Это ужасно. Не говорю уже о любви ко мне, которой нет и следа, ей не нужна и моя любовь к ней, ей нужно одно: чтобы люди думали, что *я люблю ее*. Вот это-то ужасно» (Дневник, 20 сентября 1910 г.). Но все же Л. Н., повидимому, не догадывался о той степени неискренности и притворства, на которую способна была С. А. в своих непосредственных отношениях к нему лично. А в эту ночь ему поневоле пришлось стать лицом к лицу с этим явлением, и он был тем более возмущен, чем старательнее раньше пытался удержать в своей душе хоть некоторое доверие к своей жене.

Убедившись окончательно, что изменить душевное состояние С. А-ны он уже не в силах, он увидал теперь, что присутствие его около нее стало служить для нее только соблазном, возбуждая самые скверные стороны ее природы.

Итак, прежние препятствия к его уходу были устранены помимо него. И душа его потребовала от него освобождения от того неподобающего положения, в каком он очутился. Понятно, что при этих условиях достаточно было первого

серьезного повода для того, чтобы побудить его исполнить свое давнишнее намерение. И он ушел [1]).

---

[1]) Мне приходилось слышать—правда, от очень немногих и притом преимущественно от лиц, принадлежащих к семье Л. Н-ча,—сожаление о том, что он не умер спокойно среди своей семьи в Ясной Поляне. Быть может и очень трогательна воображаемая такими лицами картина смертного одра Л. Н-ча в доме своих предков, окруженного всей своей семьей и благословляющего свою убитую горем жену. Но такая сцена была бы, в действительности, невозможна, так как С. А. в то время находилась в таком душевном состоянии, что, кроме показной приподнятости чувства и самых низменных забот о материальном наследстве, ничего не получилось бы, как и бывало перед тем при тех припадках и обморочных состояниях, которым подвергался Л. Н. А это было бы столь же вредно для нее, как и мучительно для него. Следует, напротив того, только радоваться тому, что обстоятельства дали Л. Н-чу возможность провести последние дни своей жизни и последние часы своего сознания в тихой, искренней обстановке среди близких, истинно любивших и понимавших его друзей, старательно соблюдавших его душевный покой и не навязывавших ему в эти последние минуты никаких мирских хлопот или материальных соображений. В этом я не могу не видеть для Л. Н-ча громадное счастье и благо.

Некоторые ссылаются вообще на ту душевную боль, которую должна была испытывать С. А., когда узнала, что Л. Н. ее покинул. Несомненно, что эта боль, в особенности в первое время, не могла не быть очень мучительною. Но нельзя же обвинять другого в тех страданиях, которые являются делом рук самого страдающего. Если причиной того, что человек сорвался с крыши и упал мне на голову, была моя собственная оплошность—то я не могу винить его в тех ушибах, которые он мне причинил своим падением. Столь же несправедливо винить Л. Н-ча в страданиях, причиненных С. А-не его уходом, который был вызван ею же самой. К тому же страдания, являющиеся последствием наших собственных ошибок, бывают часто благодетельны. Так и в данном случае, если С. А., под конец жизни Л. Н-ча, когда либо проявляла малейшие проблески сознания своей великой вины перед ним, то это было только как раз во время самых острых ее страданий по поводу его ухода. А потому можно жалеть о причинах, вызвавших уход Л. Н-ча, но никак не о том, что причиненное С. А-не этим событием душевное потрясение раскрыло, хотя бы только на несколько мгновений, ее глаза на истинное значение ее поведения по отношению к своему мужу.

Если же кому-нибудь может показаться странным, что Л. Н. даже после своего ухода так опасался свидания с С. А-ной, то это только потому, что слишком мало известно, опять-таки, то душевное состояние, в котором, как хорошо знал Л. Н., находилась в то время С. А. Покинув Ясную Поляну, Л. Н. твердо и непоколебимо решился уеди-

X,

Косвенным образом уход Л. Н-ча сослужил великую службу и в общественном отношении. Если бы обстоятельства так сложились, что ему и до самой смерти не пришлось бы покинуть семью, то значение подвига его жизни от этого, разумеется, ни на иоту не умалилось бы на самом деле. Но многим трудно было бы поверить, что в его совместной с женой жизни в той обстановке, в которой жила его семья, не было значительной доли эгоизма или слабохарактерности. Уход же его явно раскрыл перед современными и будущими поколениями то, что жизнь его в Ясной Поляне действительно была обставлена самыми тяжелыми условиями. Событие это сразу бросило истинный свет на все то, что он должен был раньше перестрадать в своей домашней обстановке, которую многие склонны были считать покойной и приятной для него.

ниться от семьи и потому, пока он еще надеялся зажить самостоятельно, он естественно избегал свидания с С. А-ной, которая стала бы всеми силами и не стесняясь никакими средствами препятствовать осуществлению его намерения. Когда же он слег в Астапове и предвидел возможность наступления смерти, то также вполне естественно, что он сознавал потребность в том душевном спокойствии, на которое имеет право всякий умирающий. А что состояние С. А. тогда действительно было таково, что, кроме притворства, тщеславия, материальных домогательств, суеты и шума она ничего не могла принести к его смертному одру,—это хорошо знают все те, которые имели случай близко наблюдать ее поведение не только при всех последних сериозных заболеваниях Л. Н-ча и вообще в течение последних месяцев пребывания в Ясной, но и в первые дни после его ухода, и во время ее пребывания в его соседстве в Астапове, а также у его кровати в его последние бессознательные минуты и в первые часы после его смерти. Кто видел С. А-ну при всех этих условиях не может не признать, что Л. Н. проявил большую предусмотрительность, столь настойчиво избегая свидания с ней при тогдашнем ее состоянии. Личное свидание между ними, в это время, не могло ничего прибавить к тому, что он высказал ей в своих последних письмах, проникнутых всепрощением, жалостью и любовью. Судя же по тому душевному состоянию, в котором С. А. продолжала находиться, свидание это могло бы только вызвать в ней слишком мучительное для него возобновление той же неискренности, того притворства и тех требований, которые и вызвали его уход.

Теперь же для всех сделалось очевидным, что Л. Н. оставался при семье в течение почти 30-ти лет после того, как весь образ жизни в Ясной Поляне стал до крайности противным и тягостным для него,—вовсе не потому, что желал будто бы наслаждаться удобствами барской жизни, и не потому, что был слаб и безволен перед своей женой. Теперь понятно, что он в течение всего этого времени сознательно жертвовал своими личными предпочтениями и влечениями, ради исполнения того, что считал своим долгом перед Богом и перед семьей. А подобный пример самоотречения и последовательности со стороны такого человека, как Толстой, несомненно имеет выдающееся общественное значение.

Много самых разнообразных мнений было высказано о том, прав или неправ был Толстой, покидая свою семью. Для друзей Л. Н-ча, уважающих его душу, да и вообще для всех признающих свободу совести и независимость человеческой личности,—вопрос, по отношению к уходу Л. Н-ча, конечно, вовсе не в том, прав ли он был или неправ, совершивши этот шаг. Не перед чужой совестью, а только перед своей собственной бывает человек действительно ответствен. Достаточно для нас того, что не с легким сердцем приступил Л. Н. к своему окончательному решению покинуть свою жену. Еще раз повторяю—если он 30 лет воздерживался от ухода, в течение всего этого периода терпеливо перенося самые мучительные душевные страдания, часто приводившие его к краю могилы, а под конец и умер от того, что не ушел раньше,—то, казалось бы, мы могли бы преклониться перед несомненной чистотой его побуждений и признать, что он имел право разрешить, в конце-концов, этот вопрос не по нашим соображениям, а по своему собственному разумению.

Я, по крайней мере, с своей стороны,—осторожно восстановляя в моем представлении все то, что своими ушами слышал от самого Л. Н-ча и что видел своими глазами; пополняя это тем, что он записывал в своем дневнике и высказывал в различных своих писаниях и интимных письмах; наконец, сличая все это с сообщениями, дневниками и записями того времени ближайших его друзей, бывших так же, как и я, непосредственными свидетелями всей трагедии последних месяцев его жизни,—я не вижу возможности, даже при самом придирчивом отношении, усмотреть малей-

шее противоречие в том, что Л. Н. так долго оставался при своей жене, а затем счел нужным ее покинуть. Как в том, так и в другом можно проследить неизбежное, вполне последовательное и самостоятельное реагирование его внутренней жизни на постепенно развертывавшиеся перед ним и под конец сразу определившиеся внешние обстоятельства.

Во всех побуждениях и поступках Л. Н-ча, после происшедшего в нем, в 80-х годах, духовного переворота, одно и то же основное и всем руководившее начало все время бросается в глаза. А именно его постоянное, не покинувшее его до самой смерти, стремление исполнять не свою волю и не волю окружающих его, хотя бы самых близких его друзей,—а волю Божью, как он ее понимал по крайнему своему разумению. Чего же больше можно ожидать от человека?

Если те или другие поступки Л. Н-ча, в течение последних месяцев его жизни, пришлись не по-душе некоторым из его семейных, как, напр., лишение их его литературного наследства; составление им духовного завещания без их ведома и участия; предоставление его рукописей и дневников другим лицам; наконец, самый уход его из их среды; и если нанесенный им материальный ущерб или их оскорбленное самолюбие побуждает их ошибочно приписывать все это душевной, будто бы, расслабленности и старческой податливости Л. Н-ча пагубному влиянию на него кружка его «последователей», то людям, ничем в данном случае не задетым, нет никакой надобности следовать примеру этих, считающих себя обиженными, семейных Л. Н-ча и вторить их пристрастным нареканиям, которые все сводятся в сущности к тому, что Л. Н. под конец своей жизни выжил из ума и наделал целый ряд скверных и глупых вещей.

Вольно же было некоторым из близких ко Л. Н-чу воображать, что, так как он столько времени оставался при семье, то лишился свободы выбора и не должен был трогаться с места до самой своей смерти, в роде поставленной на полку вещи, которая по своей инициативе не может сдвинуться. Л. Н. был не только живым человеком, но притом—человеком с исключительно деятельной и сильной внутренней жизнью, которая постоянно в нем росла, развивалась и побуждала его все к новым и, для наблюдавших его, часто неожиданным внешним проявлениям. Во всех важных случаях своей жизни

он всегда действовал, не следуя никакой извне навязанной ему программе и не поддаваясь ничьему личному влиянию. Он самобытно руководствовался одним только указанием своего внутреннего сознания, без всякой рисовки перед людьми и не гоняясь ни за какими эффектами, но вместе с тем он не останавливался перед самыми крайними решениями, когда дело шло об исполнении требований своей совести. А потому ему постоянно приходилось делать то, чего не предвидели и не понимали люди и часто не могли одобрить даже большинство его окружавших.

В свое время, люди, восхищаясь художественным творчеством Толстого, думали, что он будет всю свою жизнь только и делать, что писать для них романы. Он же задумался над смыслом жизни, посвятил себя служению Богу и стал указывать людям на то, как безбожно они живут. Тогда они, пораженные его вдохновенными обличениями общественной жизни, ожидали от него, что он бросит свою семью и пойдет со своей проповедью по миру, в роли пророка. А он, проявляя любовь прежде всего к самым ему близким и пренебрегая людским осуждением, оставался еще почти 30 лет при своей жене и своих детях, в самых мучительных для себя условиях, надеясь хоть сколько-нибудь помочь им осмыслить свою жизнь. Затем люди свыклись с мыслью, что старик Толстой, физически расслабленный и исповедующий «непротивление», так и кончит свою жизнь в Ясной Поляне. Но он, убедившись в том, что пребывание его около своей жены стало, под конец, только служить для нее соблазном и стеснять его собственную духовную жизнь, неожиданно для всех покинул Ясную Поляну с тем, чтобы 82-летним стариком, с расшатанным здоровьем, зажить по-новому в бедной обстановке среди близкого его сердцу рабочего народа...

У Толстого все было самобытно и неожиданно. Таковой должна была быть и обстановка его кончины. При тех обстоятельствах, в которые он был поставлен и при той удивительной чуткости и отзывчивости к получаемым впечатлениям, которые отличали его исключительную природу,— ничего другого не могло и не должно было случиться, как именно то, что произошло. Случилось как раз то, что соответствовало и внешним обстоятельствам и внутреннему

душевному облику именно Льва Николаевича Толстого. Всякая другая развязка его семейных отношений, всякие другие условия его смерти, как бы ни соответствовали они тем или иным традиционным шаблонам,—были бы в данном случае ложью и фальшью. Л. Н. ушел и умер без приподнятой сентиментальности и чувствительных фраз, без громких слов и красивых жестов,—ушел и умер, как жил,—правдиво, искренно и просто. И лучшего, более подходящего конца для его жизни нельзя было бы придумать; ибо именно этот конец был естественным и неизбежным.

По мере того, как время затушует весь тот личный элемент, который до сих пор играл такую большую роль во многих из суждений о Льве Толстом, вся чистота его побуждений и глубокая мудрость его решений—в самых сложных и трудных обстоятельствах личной жизни, которые только могут выпасть на долю человека—выступят перед людьми во всей их силе. И тогда жизнь Толстого—в особенности второй ее период: от его духовного возрождения и до самой его смерти —будет служить светлым и ободряющим примером того, как следует и как возможно, руководствуясь голосом Божиим в своей душе, сочетать в своих поступках величайшую сердечность и мягкость по отношению к своему обидчику—с непоколебимой твердостью там, где дело касается верности тому высшему Началу, которому служишь. [1])

---

[1]) В этой книге, специально посвященной только уходу Л, Н-ча, я не касаюсь подробно того, что происходило после этого события. Это составит предмет дальнейшего изложения в особой книге, которую я готовлю к печати.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Отношение Л. Н. Толстого к своим страданиям.

Думаю, что в дополнение к изложенному об «Уходе Толстого» здесь желательно было бы несколько внимательнее приглядеться к тому росту внутреннего сознания, который постепенно происходил у Л. Н-ча в течение последних десятилетий его жизни; и к той области этого развития его духовной жизни, которая связана вообще с его отношением к страданиям, и в частности—к своим собственным страданиям, вытекавшим из рассматриваемых в настоящей книге условий его семейной жизни.

Прислушаемся же прежде всего к собственным словам Л. Н-ча о том, что ему пришлось в этой области перечувствовать и передумать. Для этого мы воспользуемся его дневником и частными письмами. В этом отношении много самого ценного материала содержит его дневник за 1884-ый год, лично переданный им мне для хранения тотчас после его окончания, и из которого я привожу нижеследующие выдержки. Дневник этот велся Л. Н-чем как раз тогда, когда завязывалась та великая драма его семейной жизни, которая, в конце-концов, привела его к могиле.

Позволяю себе предать гласности, написанные Л. Н-чем в самые трудные минуты своей жизни, цитируемые здесь строки, единственно ради устранения тех недоразумений и лжетолкований, которые, как я раньше уже указывал, в таком количестве накопились со времени его смерти вокруг вопроса о причинах его ухода. Надеюсь, что читатель поймет мои побуждения и отнесется к приводимым мною интимным записям Л. Н-ча с таким же чувством благоговения, с каким я их решаюсь здесь воспроизвести.

Из дневника Л. Н. Толстого за 1884 г. [1]).

16 апреля. Москва.

Очень тяжело в семье. Тяжело, что не могу сочувствовать им. Все их радости, экзамены, успех света, музыка, обстановка, покупки—все это я считаю несчастьем и злом для них и не могу этого сказать им. Я могу, и я говорю, но мои слова не захватывают никого. Они как будто знают не смысл моих слов, а то, что я имею дурную привычку это говорить. В слабые минуты—теперь такая—я удивляюсь их безжалостности. Как они не видят, что я не то, что страдаю, а лишен жизни вот уже три года. Мне придана роль ворчливого старика, и я не могу в их глазах выйти из нее. Прими я участие в их жизни—я отрекусь от истины, и они первые будут мне тыкать в глаза этим отречением. Смотри я, как теперь, грустно на их безумство—я ворчливый старик, как все старики.

23 апреля.

Стыдно, гадко. Страшное уныние. Весь полон слабости. Надо, как во сне, беречь себя, чтобы во сне не испортить нужного на яву. Затягивает и затягивает меня илом, и бесполезны мои содрогания. Только бы не без протеста меня затянуло. Злобы не было. Тщеславия тоже мало или не было. Но слабости, смертной слабости полны эти дни. Хочется смерти настоящей. Отчаяния нет. Но хотелось бы жить, а не караулить свою жизнь.

24 апреля.

Та же слабость и тот же победоносный ил затягивает и затягивает.

26 апреля.

Надо в несчастной (жизни) быть счастливым. Надо это... сделать целью своей. И я могу это, когда я силен духом.

---

[1]) Все даты записей этого дневника 1884 года обозначены по новому стилю (т.-е. на 12 дней вперед), так как Л. Н. вносил их в календарную записную книжку французского издания.

15 мая.

Мне тяжело. Я ничтожное, жалкое, ненужное существо и еще занятое собой. Одно хорошо, что я хочу умереть.

16 мая.

Господи, избави меня от этой ненавистной жизни, придавливающей и губящей меня. Одно хорошо, что мне хочется умереть. Лучше умереть, чем так жить.

17 мая.

Во сне видел, что жена меня любит. Как мне легко, ясно все стало. Ничего похожего на яву. И это-то губит мою жизнь. Дома все та же всеобщая смерть. Одни маленькие дети живы. Какой-то за чаем опять тяжелый разговор. Всю жизнь под страхом.

26 мая. ЯснаяПоляна.

Я как во сне... когда знаю, что ходит тигр и вот-вот...

1 июня.

Тупость, мертвенность души, это можно переносить, но при этом дерзость, самоуверенность... Надо и это уметь нести, если не с любовью, то с жалостью. Я раздражителен, мрачен с утра. Я плох... Как тут жить, как прорвать этот засыпающий песок. Буду рыть.

2 июня.

Разговор за чаем с женою, опять злоба. Попытался писать, нейдет... Как светить светом, когда сам еще полон слабостей, преодолеть которые не в силах?

4 июня.

Много думал о жене. Надо любить, а не сердиться, надо ее заставить любить себя. Так и сделаю.

6 июня.

После обеда тоска... Вечером немного ожил. Не мог быть любовен, как хотел. Очень я плох.

9 июня.

Пытаюсь быть ясен и счастлив, но очень, очень тяжело. Все, что я делаю, дурно, и я страдаю от этого дурного ужасно.

Точно я один не сумасшедший в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими.

7 июня.

Мучительная борьба. И я не владею собой. Ищу причин: табак, невоздержание, отсутствие работы воображения. Все пустяки. Причина одна—отсутствие любимой и любящей жены. Началось с той поры, 14 лет, как лопнула струна, и я сознал свое одиночество. [1]) Это все не резон. Надо найти жену в ней же. И должно, и можно, и я найду. Господи, помоги мне.

10 июня.

Ужасно то, что роскошь, разврат жизни, в которой я живу, я сам сделал и сам испорчен и не могу поправить. Могу сказать, что поправляюсь, но так медленно. Не могу бросить куренье и не могу найти обращенья с женой такого, чтобы не оскорблять ее и не потакать ей. Ищу. Стараюсь.

16 июня.

Очень больно было. Хотелось сейчас уйти. Но все это слабость. Не для людей, а для Бога. Делай, как знаешь, для себя, а не для того, чтобы доказать. Но ужасно больно. Разумеется, я виноват, если мне больно. Борюсь, тушу поднявшийся огонь, но чувствую, что это сильно погнуло весы. И в самом деле, на что я им нужен? На что все мои мученья? И как бы ни были тяжелы (да они легкие) условия бродяги, там не может быть ничего подобного этой боли сердца!

---

[1]) Чему именно Л. Н. приписывал свое сознание того, что в 70-м году в отношениях между ним и его женой «лопнула струна», я с полной уверенностью утверждать не в состоянии. Могу только для сведения читателя указать на то, что слышал от Л. Н-ча, что эти отношения стали определенно портиться с тех пор, как С. А., противно его убеждениям и желанию, отказалась кормить родившуюся в феврале 1871 г. свою вторую дочь, Марью Львовну, и наняла к ней отнятую у чужого ребенка кормилицу. Вообще имею основание полагать, что первоначальное охлаждение возникло на почве расхождения в понимании нравственных требований супружеских и родительских обязанностей.

23 июня.

Я спокойнее, сильнее духом. Вечером жестокий разговор о самарских деньгах. [1]) Стараюсь сделать, как бы я сделал перед Богом. И не могу избежать злобы. Это должно кончиться.

29/17 июня.

...Вечером покосил у дома... П шел купаться, вернулся б дрый, веселый, и вдруг начались со стороны жены бессмысленные упреки за лошадей, которых мне не нужно и от которых я хочу избавиться. Я ничего не сказал, но мне стало ужасно тяжело. Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу. Дома игр ют в винт б родатые мужики—молодые мои два сына. «Она на крокете, ты не видал», говорит Т ня сестра. «И не хочу видеть». И пошел к себе спать на диване, но не мог от горя. Ах, как тяжело! Все-таки мне жалко ее. И все-таки не могу поверить тому, что она совсем деревянная. Только что заснул в 3-м часу, она пришла, разбудила меня: «Прости меня, я рожаю, может-быть, умру». Пошли наверх. Начались роды [2]),—то, что есть самого радостного, счастливого в семье, прошло как что-то ненужное и тяжелое. Кормилица приставлена кормить. Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и бесжалостно. Бесжалостно относительно ее. Я вижу, что она с усиливающейся быстротой идет к погибели и к страданиям—душевным, ужасным. Заснул в 8. В 12 проснулся. Сколько помнится, сел писать. Когда приехал из Тулы брат, я в первый раз в жизни сказал ему всю тяжесть своего положения.

---

[1]) В это время в сознании Л. Н-ча уже начало определенно складываться его отрицательное отношение к собственности. Вследствие этого он не желал пользоваться доходами с самарского имения, считая несправедливым заставлять крестьян работать на него и его семью. Даже и те доходы, которые семья и без того получала от яснополянского имения и от продажи С. А-ной его сочинений, он считал неправедными, хотя в этой области он тогда еще не видел ясно, как ему следует поступить, принимая в соображение свои обязанности перед семьей.

[2]) В эту ночь (18 июня) родилась его младшая дочь Александра.

5 июля.

Жена очень спокойна и довольна и не видит всего разрыва. Стараюсь сделать как надо. А как надо, не знаю. Надо сделать как надо всякую минуту, выйдет, как надо все.

6 июля.

Перечитывал дневник тех дней, когда отыскивал причину соблазнов. Все вздор—отсутствие физической напряженной работы [3]). Я недостаточно ценю счастье свободы от соблазнов после работы. Это счастье дешево купить усталостью и болью мускулов.

19 июля.

Она пришла ко мне и начала истерическую сцену—смысл тот, что ничего переменить нельзя, и она несчастна, и ей надо куда-то убежать. Мне было жалко ее, но вместе с тем я сознавал, что безнадежно. Она до моей смерти останется жерновом на шее моей и детей. Должно-быть так надо. Выучиться не тонуть с жерновом на шее. Но дети? Это, видно, должно-быть. И мне больно только потому, что я близорук. Я успокоил, как больную.

8 августа.

Думал: мы упрекаем Бога, горюем, что встречаем препятствия в осуществлении учения Христа. Ну, а что, если бы мы все были без семейных несогласных? Мы бы сошлись и жили счастливо и радостно. Ну а другие? Другие бы и не знали. Мы хотим собрать огонь в кучу, чтобы легче горел. Но Бог раскидал огонь в дрова. Они занимаются, а мы тоскуем, что они не горят.

12 августа.

С женой держится. Я боюсь и напрягаю все силы.

14 августа.

С женой тихо и дружно, но боюсь всякую минуту.

20 августа.

За обедом взрыв на меня... Сознание добра и мира сильно вошло в семью. Все убиты... Дома тяжелый разговор. Соня,

---

[3]) Смотри выше запись 7 июня.

чувствуя, что виновата, старалась оправдаться злом. Но мне было жалко ее.

21 августа.

Утром начал разговор и горячо, но хорошо. Я сказал, что должно... Пришел домой. Соня помирилась. Как я был рад. Именно, если бы она взялась быть хорошей, она была бы очень хороша.

3 сентября.

Что-то трогает как-то их. Я не знаю как.

7 сентября.

Ходил за грибами... Жена не пошла за мной, пошла сама не зная куда, только не за мной—вся наша жизнь.

9 сентября.

Приятно с женой. Говорил ей истины неприятные, и она не сердилась.

10 сентября.

Соня убирала мою комнату, а потом гадко кричала на Власа. Я приучаюсь не негодовать и видеть в этом нравственный горб, который надо признать фактом, и действовать при его существовании.

15 сентября.

Ходил за грибами. Тосковал.

17 сентября.

Утром разговор. И неожиданная злость. Потом сошла ко мне и пилила до тех пор, пока вывела из себя. Я ничего не сказал, не сделал, но мне было тяжело. Она убежала в истерике. Я бегал за ней. Измучен страшно.

После этого дневника 1884-го года, не сохранилось, насколько мне известно, у Л. Н-ча никаких дальнейших дневников в течение нескольких лет. Перестал ли он вести свой дневник для того, чтобы не закреплять больше на бумаге свои душевные мучения, предпочитая в полном одиночестве, перед одним только своим Богом, продолжать свою напряженную борьбу с самим собою? Вел ли он дневник и потом

сам уничтожил его, не желая никому раскрывать тех страданий, которым подвергался? Пропали ли другим путем эти недостающие тетради дневника, если они действительно существовали? На эти вопросы ответа нет и навряд ли будет.

Судя по записям Л. Н-ча в своих последующих, сохранившихся с 1888-го года дневниках, несомненно только то, что его душевные страдания и внутренняя борьба в связи с его семейными отношениями продолжались в течение всей остальной его жизни. И в этой борьбе все больше и больше просветлялось его высшее сознание, все больше росла и крепла его духовная сила. В результате он с течением времени достиг поразительной власти над своими личными желаниями и слабостями. Временами он, как и не могло быть иначе, особенно мучительно сознавал свое совершенное одиночество среди окружавших его людей. До какой степени он чувствовал себя чуждым в своей собственной семье, насколько он был лишен того теплого, сердечного участия со стороны своей жены, которое составляет главную ценность супружеской жизни, можно отчасти судить по тем записям, в которых он с неудержимой тоской вспоминает свою мать.

Отношение к ее памяти у него, как известно, всегда было самое благоговейное. В своих «Воспоминаниях детства» он пишет о ней: «Ей необходимо было любить не себя, и одна любовь сменялась другой. Таков был духовный облик моей матери в моем представлении. Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и молитва эта всегда помогала мне».

Этот святой образ своей матери Л. Н. иногда призывал, как видно, в самые трудные для него минуты даже в своей старости. 10-го марта 1906-го года он записал на клочке бумаги:

«Целый день тупое, тоскливое состояние. К вечеру состояние это перешло в умиление, желание ласки, любви. Хотелось, как детьми, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать и быть утешенным. Но кто такое существо, к которому я бы мог прильнуть так? Перебираю всех, всех любимых мною людей—ни один не годится. К кому же прильнуть? Сделаться маленьким и—к матери.

как я представляю ее себе. Да, да, маменька, которую я никогда не называл, еще не умея говорить, да, она, высшее мое представление о чистой любви,—но не холодной, божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня. Все это безумно, но все это правда».

На следующий день, спокойно разбираясь в испытанном им накануне приливе тоски, он записал в своем дневнике:

«Вчера особенно подавленное состояние. Все неприятное особенно живо чувствуется. Так я говорю себе, но в действительности—я *ищу* неприятного, я восприимчив, промокаем для неприятного. Никак не мог избавиться от этого чувства. Пробовал все: и молитву, и сознание своей дурноты,—и ничего не берет. Молитва, т.-е. живое представление своего положения, не доходит до глубины сознания; признание своей ничтожности, дрянности не помогает. Чего-то не то, что хочется, а мучительно не доволен чем-то, и не знаешь чем. Кажется, что жизнью: хочется умереть. К вечеру это состояние перешло в чувство сиротливости и умиленное желание ласки, любви; мне, старику, хотелось сделаться ребеночком, прижаться к любящему существу, ласкаться, жаловаться и быть ласкаемым и утешаемым. Но кто же то существо, к которому я мог бы прижаться и на руках которого плакать и жаловаться? Живого такого нет. Так что же это? А все тот же дьявол эгоизма, который в такой новой, хитрой форме хочет обмануть и завладеть. Это последнее чувство объяснило мне предшествующее состояние тоски. Это—только ослабление, временное исчезновение духовной жизни и заявление своих прав эгоизма, который, пробуждаясь, не находит себе пищи и тоскует. Средство против этого одно: служить кому-нибудь самым простым, первым попавшимся способом, работать на кого-нибудь». (Дн. 11 марта 1906 г.).

Это полное отсутствие у Л. Н-ча малейшей сентиментальности по отношению к тем душевным страданиям, которые ему приходилось испытывать, было, повидимому, связано у него с его высоким представлением о Христе и глубоким преклонением перед его подвигом жизни. В 1885-м году Л. Н. писал:

«Победил мир и спас его Христос не тем, что пострадал за нас, а тем, что страдал с любовью и радостью, т.-е. победил страдания и нас научил этому». (Письмо к В. Г. Черткову).

И действительно, до самых последних дней и часов своей жизни Л. Н. неотступно и с поразительным успехом подвизался в этом приучении себя «побеждать страдания». В подтверждение своих слов приведу ряд дальнейших выдержек из его дневника и писем к разным лицам.

Из дневника и писем Л. Н. Толстого 1889—1910 годов.

1889 г. 15 июня. (Из дневника).

Тягощусь жизнью, забываю, что если есть силы жизни, то они могут быть употреблены на служение Богу и что никуда не уйдешь—нет пустоты, везде трение, и в трении жизнь.

1889 г. 18 июля. (Из писем).

Чего же мне нужно? Жить с Богом, по Его воле, с Ним. Что для этого нужно? Нужно одно: соблюсти данный мне талант, мою душу, данную мне, не только соблюсти, но возрастить ее. Как возрастить ее? Я для себя знаю, что мне нужно: в чистоте блюсти свое животное, в смирении—свое человеческое, и в любви—свое божеское. Что нужно для соблюдения чистоты?—лишения, всякого рода лишения; для смирения?—унижение; для любви?—враждебность людей. Где же и как же я соблюду свою чистоту без лишений, смирение без унижения и любовь без враждебности? «И если любите любящих вас, то это не любовь, а вы любите врагов, любите ненавидящих вас». Одно горе подходит под унижение и враждебность. И эти мысли оживили меня. Другое горе есть лишение, страдание—то самое, что и нужно для роста души. Так и надо смотреть на него.

1889 г. 18 июля. (Из писем).

Все горести наши одинаково имеют один корень, и как ни странно звучит это, все не только могут, но должны быть благом... Дай Бог, чтобы мы верили в возможность этого, это раз. А другое: то, чтобы у нас не было мыслей возвратных к своему горю, в воображении изменяющих условия, при которых случилось горе и поправляющих наши поступки: «Если бы мы не сделали, или если бы мы сделали—то-то и

то-то, этого бы не было». Избави нас Бог от этой ошибки с ее тяжелыми последствиями. Что было, то есть, а что есть, то должно было быть, и вся наша сила жизни должна быть направлена на настоящее, на то, как наилучшим образом нести свой крест.

1889 г. Декабрь. (Из писем).

Крест дается по силам... Я верю и не могу не верить этому, потому что опытом знаю, что чем тяжелее были страдания, если только удавалось в христианском духе принимать их..., тем полнее, сильнее, радостнее, значительнее становилась жизнь.

Так часто повторяют неискренно, что страдания нужны нам и посылаются Богом, что мы перестали верить в это. А это самая простая, ясная и несомненная истина. Страдания, то, что называется страданиями, есть условие духовного роста. Без страдания невозможен рост, невозможно увеличение жизни. От этого-то страдания и сопутствуют всегда смерти. Если бы у человека не было страданий, плохо бы ему было. От этого и говорят в народе, что того Бог любит, кого посещают бедствия... Я понимаю, что человеку может сделаться грустно и страшно, когда долго его не посещают страдания. Нет движения, роста жизни. Страдание есть только страдание для язычника, для непросвещенного истиной, и в той мере для нас, в какой мы не просвещены. Но страдания перестают быть ими для христианина—они становятся муками рождения, как и обещал Христос избавить нас от зла. И это все не риторика, а все это для меня и по разуму и по опыту так несомненно, как то, что теперь зима.

1892—93 г. (?). (Из писем).

Ничто—я думаю—столько, как ваше положение, не освобождает от зависимости от людей и не приближает или, скорее, может приближать к Богу. Только тогда обопрешься на Него, когда люди заставят. Помогай вам Бог нести свой крест терпеливо, покорно, чтобы вынести все то добро, которое дает и может дать внешнее страдание. А то обидно, как страдание было то же, а борясь с ним, негодуя, отчаиваясь, не вынес из него все, что свойственно ему давать.

1893 г. 17 мая. (Из писем).

Я вынужден жить без радостей личных, законных, тех, которые вы имеете: труда, общения с животными, природой; без общения (не отравленного их развращением) с детьми; без поощрения мнения людского. Со мной случилось то, что именно слава людская не столько убила для меня привлекательность славы людской, но слава эта отравилась, стала ядом, позором: той славы людской, известности в толпе я уже не могу желать, потому что имею ее и знаю, как она двойственна: если есть хвалители, то есть ругатели; славы людской, той, которую вы имеете—доброе мнение уважаемых людей за свою добрую, хоть согласную с убеждениями жизнь, тоже не могу иметь. И сверх всего этого эта же слава людская—как пишут за границей, и установилось мнение, что я живу скромной, трудовой, бедной жизнью—эта же слава всякую секунду обличает меня лгуном, подлецом, живущим в роскоши, наживающим деньги продажей своих книг. Я, если думаю о славе людской, то вроде вора, который боится всякую минуту, что его уличат. Так что жить мне приходится без стимула радостей законных и не только без славы людской, но и с постоянным сознанием позора своей жизни, приходится жить тем, чем я считаю, что может и должен жить человек: только сознанием исполнения воли Пославшего. И вот, я вижу, что я еще далеко не готов для этого и только, только учусь. И жизнь учит меня. И я должен радоваться и радуюсь.

1894 г. 28 февраля. (Из писем).

Чем дольше живу и чем ближе к смерти, тем несомненнее для меня неправда нашей богатой жизни, и не могу не страдать от этого.

1895 г. 27 марта. (Из дневника).

Если есть страдание, то был или есть эгоизм. Любовь не знает страданий, потому что жизнь любовная есть жизнь божеская, всемогущая. Эгоизм же есть ограничение личности.

1896 г. 20 декабря. (Из дневника).

Все также тяжело. Помоги, Отец! Облегчи. Усилься во мне, покори, изгони, уничтожь поганую плоть и все то, что через нее чувствую...

Впрочем, уже лучше. Особенно успокаивает задача—экзамен смирения, унижения, совсем неожиданного, исключительного унижения. В кандалах, в остроге можно гордиться унижением, а тут только больно, если не принимать его, как посланное от Бога испытание. Да, выучись перенести спокойно, радостно и любить.

1897 г. 18 января. (Из дневника).

Уныло, гадко. Все отталкивает меня от той жизни, которой живут вокруг меня. То освобождаюсь от тоски и страдания, то опять впадаю. Ни на чем так не видно, как я далек от того, чем хочу быть. Если бы жизнь моя была точно вся в служении Богу—ничто бы не могло нарушить ее.

1897 г. 4 апреля. (Из дневника).

Спокойствие не потерял, но душа волнуется, но я владею ей. О Боже! Если бы только помнить о своем посланничестве, о том, что через тебя должно проявляться (светить) божество! Но то трудно, что если это помнишь только, то не будешь жить, а надо жить, энергически жить и помнить. Помоги, Отец! Молился много последнее время о том, чтобы лучше была жизнь. А то стыдно и тяжело от сознания незаконности своей жизни.

1897 г. 12 июля. (Из писем).

Горе ваше понимаю, и всей душою сочувствую. Это вам экзамен. Старайтесь не провалиться. Помните, что это единственный случай приложить к жизни свою веру. Я этим всегда подкрепляю себя в трудные минуты и иногда с успехом.

1897 г. (Из писем).

Колебания между тем, что делаешь уступки для ненарушения любви или для потворства своим слабостям, продолжаются, как всегда, и чем старше становлюсь, тем сильнее чувствую этот грех и смиряюсь, но не покоряюсь и надеюсь воспрянуть.

1899 г. 10 марта. (Из писем).

Очень мне трудно, и скучно, и одиноко. И боюсь я неприятности, т.-е. того, чтобы люди на меня не сердились. А люди сердятся.

1901 г. 29 ноября. (Из дневника).

Если страдаешь, то это только от того, что не видишь всего (еще не наступило время), не раскрылось то, что совершается этим страданием.

1903 г. 31 января. (Из писем).

Страдания полезны именно потому, что человек в обыкновенной мирской жизни забывает ту неразрывную связь, которая существует между всем живущим, страдания же, которые он несет и которых он был причиной для других людей, напоминают ему про эту связь. Связь эта духовная, так как сын Божий один во всех людях; страдания же физические невольно загоняют человека в область духовную, в которой он чувствует себя в единении с Богом и миром, и в которой он... несет страдания, произведенные другими людьми, как бы произведенные им самим, и даже с радостью принимает на себя тяжесть страданий, снимая ее с других людей. В этом полезность и плодотворность страданий.

1905 г. 12 июня. (Из дневника).

Все больше и больше болею своим довольством и окружающей нуждою.

1906 г. 29 мая. (Из дневника).

Очень мне тяжело от стыда моей жизни. И что делать, не знаю. Господи, помоги мне.

1906 г. 23 ноября. (Из дневника).

В очень хорошем душевном состоянии любви ко всем. Читал Иоанна послание. Удивительно. Только теперь вполне понимаю. Нынче было великое искушение, которое так и не преодолел вполне. Догнал меня Абакумов с просьбой и жалобой на то, что его за дубы приговорили в острог. Очень было больно. Он не может понять, что я, муж, не могу сделать по-своему, и видит во мне злодея и фарисея, прячащегося за жену. Не осилил перенести любовно, сказал: что мне нельзя жить здесь. И это недобро. Вообще меня больше и больше ругают со всех сторон. Это хорошо: это загоняет к Богу. Только бы удержаться на этом. Вообще чувствую одну из самых больших перемен, совершившихся во мне именно теперь. Чувствую это по спокойствию и радостности и доброму чувству (не смею сказать: любви) к людям.

1907 г. 7 июня. (Из дневника).

Прежнее нездоровье прошло, но начинается как будто новое. Нынче очень, очень грустно. Стыдно признаться, но не могу вызвать радости. На душе спокойно, серьезно, но не радостно. Грустно, главное, от того мрака, в котором так упорно живут люди. Озлобление народа, безумная роскошь наша... Испытал радость уединения с Богом... Грустно, грустно. Господи, помоги мне, сожги моего древнего, плотского человека. Да, одно утешенье, одно спасенье: жить в вечности, а не во времени.

1908 г. 7 апреля. (Из писем).

Одно могу сказать, что причины, удерживающие меня от той перемены жизни, которую вы мне советуете, и отсутствие которой составляет для меня мучение,—что причины, препятствующие этой перемене, вытекают из тех самых основ любви, во имя которых эта перемена желательна и вам и мне. Весьма вероятно, что я не знаю, не умею, или просто во мне есть дурные те свойства, которые мешают мне исполнить то, что вы советуете мне. Но что же делать? Со всем усилием моего ума и сердца я не могу найти этого способа и буду только благодарен тому, кто мне укажет его И это я говорю совсем не с иронией, а совершенно искренно.

1908 г. 20 мая. (Из дневника).

Моя жизнь хороша тем, что я несу всю тяжесть богатой, ненавидимой мной жизни: вид трудящихся для меня, просьба помощи, осуждение, зависть, ненависть,—и не пользуюсь ее выгодами, хоть тем, чтобы любить то, что для меня делается, чтоб помочь просящим и др.

1908 г. 17 июня.

Сейчас застал Соню в гневе за порубленный лес. И зачем, зачем она мучает себя? Так жалко ее, а помочь нельзя. Все сильнее и сильнее стыжусь своего положения и всего безумия мира. Неужели это мой обман чувства и мысли, что продолжаться это не может?

— Нет, не может.

1908 г. 3 июля. (Из дневника).

Третьего дня получил письмо с упреками за мое богатство и лицемерие и угнетение крестьян и, к стыду моему, мне больно. Нынче целый день грустно и стыдно. Сейчас ездил верхом, и так желательно, радостно показалось уйти нищим, благодаря и любя всех. Да, слаб я, не могу постоянно жить духовным «я». А как не живешь им, то все задевает. Одно хорошо, что недоволен собой и стыдно. Только бы этим не гордиться.

1908 г. 9 июля. (Из дневника).

Пережил очень тяжелые чувства. Слава Богу, что пережил. Бесчисленное количество народа, и все это было бы радостно, если бы все не отравлялось сознанием безумия, греха, гадости, роскоши, прислуги и—бедности и сверхсильного напряжения труда кругом. Не переставая мучительно страдаю от этого, и один. Не могу не желать смерти. Хотя хочу, как могу, использовать то, что осталось.

1909 г. 12 января. (Из дневника).

Все тяжелее и тяжелее в этих условиях. Но не знаю, как благодарить Бога, что рядом с увеличивающейся тяжестью увеличивается и сила для перенесения. Вместе с бременем и силы. А от сознания сил несравненно больше радости, чем тяжести от бремени. Да, иго Его благо и бремя легко.

1909 г. 6 мая. (Из писем).

Вам тяжело. Помогай вам Бог, без упреков людям д нарушения любви к ним, нести свое испытание. Мне всегда очень помогает—когда что тяжелое—думать и помнить, что это тот материал—и нужный, хороший материал,—над которым я призван работать, и не перед людьми, а перед Богом.

1909 г. 21 июля. (Из дневника).

С вечера вчера С. А. была слаба и раздражена. Не мог заснуть до 2 и дольше. Проснулся слабым, меня разбудила С. А., не спала всю ночь. Я пришел к ней. Это было что-то безумное. «Душан отравил ее» и т. п... Я устал и не могу больше и чувствую себя совсем больным. Чувствую возможность относиться разумно и

любовно, полную невозможность. Пока хочу только удаляться и не принимать никакого участия. Ничего другого не могу, а то я уже серьезно думал бежать. Нутка, покажи свое христианство. C'est le moment ou jamais. А страшно хочется уйти. Едва ли в моем присутствии здесь есть что-нибудь, кому-нибудь нужное. Тяжелая жертва и во вред всем. Помоги, Бог мой, научи. Одного хочу— делать не свою, а Твою волю. Пишу и спрашиваю себя: правда ли? не рисуюсь ли я перед собой? Помоги, помоги, помоги.

1909 г. 22 июля. (Из дневника).

Вчера ничего не ел и не спал. Как обыкновенно, очень было тяжело. Тяжело и теперь, но умиленно-хорошо. Да,— любить делающих нам зло. Говоришь, ну-ка, испытай. Пытаюсь, но плохо. Все больше и больше думаю о том, чтобы уйти и сделать распоряжение об имуществе... Не знаю, что буду делать. Помоги, помоги, помоги. Это «помоги» значит то, что слаб, плох я. Хорошо, что есть хоть это сознание.

1909 г. 26 июля. (Из дневника).

После обеда заговорил о поездке в Швецию, поднялась страшная истерическая раздраженность. Хотела отравиться морфием, я вырвал из рук и бросил под лестницу. Но когда лег в постель, спокойно обдумал, решил отказаться от поездки. Пошел и сказал ей. Она жалка, истинно жалею ее. Но как поучительно. Ничего не предпринимал, кроме внутренней работы над собой. И как только взялся за себя, все разрешилось. Целый день болел.

1909 г. 28 августа. (Из дневника).

Ужасно, ужасно мучительно, тяжело. Содействовали тяжести письма из Берлина по случаю письма Софьи Андреевны и статьи «Петербургских Ведомостей», в которых говорится, что Толстой—обманщик, лицемер. К стыду своему не радовался тому, что ругают, а было больно. И весь вечер мучительно тяжело. Уйти? Чаще и чаще задается вопрос.

1909 г. 29 августа. (Из дневника).

Тяжелое чувство и желание (дурное) бежать и нерешительность, что перед Богом должен делать. В спокойные ми-

нуты, как теперь, знаю, что нужно *главное—неделание*, пребывание в любви.

1909 г. 4 сентября. (Из дневника).

Ложное обо мне суждение людей, необходимость оставаться в этом положении,—как ни тяжело все это, начинаю иногда понимать благодетельность этого для души.

1909 г. 15 ноября. (Из дневника).

Все усиливается тоска, почти отчаяние от своей праздной жизни в безумной роскоши среди людей, напряженно трудящихся и лишенных необходимого: возможности удовлетворения первых потребностей. Мучительно жить так, а не знаю, как помочь и себе и им. В слабые минуты хочется умереть. Помоги, Отец, делать до последней минуты то, что ты хочешь.

Работа над собой в мыслях, которой я учусь и отдаюсь все больше и больше последнее время, много, очень много подвинула меня; но, как всегда, истинное движение в добре... только все больше и больше открывает свое несовершенство.

1910 г. 8 января. (Из писем).

Я живу дурно, в богатстве, хотя сам ничего не имею, но с теми, кто живут в богатстве.

1910 г. 16 марта. (Из писем).

Ослабеет человек—слабее воды, окрепнет—крепче камня. Самое меня укрепляющее в тяжелые минуты, это сознание того, что это-то самое, то, что мучает, это-то и есть тот материал, над которым ты призван работать, и материал тем более ценный, чем труднее минуты.

1910 г. 19 марта. (Из писем).

В дурные минуты думайте о том, что то, что с вами случилось, это тот материал, над которым вы призваны работать. Мне, по крайней мере, эта мысль и чувство, вызываемое ею, всегда очень помогает.

1910 г. 13 апреля. (Из дневника).

Проснулся в 5 и все думал, как выйти, что сделать. И не знаю. Писать думал—и писать гадко, оставаясь в этой жизни. Говорить с ней? Уйти?Понемногу изменять?.. Кажется, одно последнее буду и могу делать. А все-таки тяжело. Может быть,

даже наверное, это хорошо. Помоги, помоги Тот, Кто во мне, во всем, и Кто есть, и Кого я молю и люблю. Да, люблю. Сейчас плачу, любя.

1910 г. 14 апреля. (Из писем).

Ты спрашиваешь, нравится ли мне та жизнь, в какой я нахожусь,—нет, не нравится. Не нравится потому, что живу я со своими родными в роскоши, а вокруг меня беднота и нужда, и я от роскоши не могу избавиться, и бедноте и нужде не могу помочь. В этом мне жизнь моя не нравится. Нравится же она мне в том, что в моей власти и что могу делать и делаю по мере сил, а именно, по завету Христа, любить Бога и ближнего. Любить Бога—значит: любить совершенство добра и к нему сколько можешь приближаться. Любить ближнего: одинаково любить всех людей, как братьев и сестер своих. Вот к этому-то самому и к этому одному я стремлюсь. И так как, хотя и плохо, но понемножку приближаюсь к этому, то и не скорблю, а только радуюсь.

Спрашиваешь еще, что если радуюсь, то чему радуюсь и какую ожидаю радость. Радуюсь тому, что могу исполнять, по мере своих сил, заданный мне от Хозяина урок: работать для установления того Царства Божия, к которому мы все стремимся.

1910 г. 4 июня. (Из дневника).

Ездил хорошо. Вернулся и застал черкеса, приведшего Прокофия. Ужасно стало тяжело, прямо думал уйти. И теперь, нынче, 5 утром, не считаю этого невозможным.

1910 г. 2 июля. (Из писем).

Все будет хорошо, если мы не ослабеем... Очень тяжело, но тем лучше.

1910 г. 16 июля. (Из писем).

Чувствую себя хорошо... Немного слабее обыкновенного, но действительно очень хорошо... Ну, право, когда спокоен, прямо чувствую, что во всем этом больше хорошего, чем дурного, несравненно больше. Смешно даже сравнивать: маленькие неприятности, тревоги, лишения и — сознание приближения к Богу.

1910 г. 29 июля. (Из писем).

Будем стараться, каждый из нас, поступать как должно... и будет все хорошо. Я из всех сил стараюсь и чувствую, что одно это важно.

1910 г. 31 июля. (Из писем).

Только бы самим (мне) не портить, все будет, как должно быть, т.-е. хорошо.

1910 г. 7 августа. (Из писем).

Мне жалко ее, и она несомненно жалчее меня, так что мне было бы дурно, жалея себя, увеличить ее страдания. Мне же, хотя я и устал, мне в сущности хорошо. Все ближе и ближе подходит раскрытие, наверное благой, предугадываемой тайны, и приближение это не может не *привлекать и не радовать меня!*

1910 г. 9 августа. (Из писем).

Чем ближе к смерти, по крайней мере—чем живее помнишь о ней (а помнить о ней значит помнить о своей истинной, независящей от смерти жизни), тем важнее становится это единое нужное дело жизни, и тем яснее, что для достижения этого ненарушения любви со всеми не нужно предпринимать что-нибудь, а только не *делать*.

1910 г. 14 августа. (Из писем). Утром.

Знаю, что все это нынешнее, особенно болезненное состояние может казаться притворным, умышленно вызванным (отчасти это и есть), но главное в этом все-таки болезнь, совершенно очевидная болезнь, лишающая ее воли, власти над собой. Если сказать, что в этой распущенной воле—в потворстве эгоизму, начавшихся давно, виновата она сама, то вина эта прежняя, давнишняя; теперь же она совершенно невменяема, и нельзя испытывать к ней ничего, кроме жалости, и невозможно, мне по крайней мере, совершенно *невозможно ей* contrecarrer (итти наперекор), и тем явно увеличивать ее страдания. В том же, что решительное отстаивание моих решений, противных ее желанию, могло бы быть полезно ей, я не верю, а если бы и верил, все-таки не мог бы этого делать. Главное же, кроме того, что думаю, что я должен так поступать, я по опыту знаю, что, когда я настаиваю, мне му-

чительно, когда же уступаю, мне не только легко, но даже радостно...[1]) Я был последние дни нездоров, но нынче мне гораздо лучше. И я особенно рад этому нынче, потому что все-таки меньше шансов сделать, сказать дурное, когда телесно свеж.

1910 г. 14 августа. (Из писем).

Согласен, что обещания никому, а особенно человеку в таком положении, в каком она теперь, не следует давать, но связывает меня теперь никак не обещание... а связывает меня просто жалость, сострадание, как я это испытал особенно сильно нынче и о чем писал вам. Положение ее очень тяжелое. Никто не может этого видеть и никто так сочувствовать ему...

1910 г. 20 августа. Кочеты. (Из писем).

Без преувеличения могу сказать, что признаю то, что случилось, необходимым и потому полезным для моей души. Думаю, по крайней мере, так в лучшие минуты.

1910 г. 25 августа. Кочеты. (Из писем).

Про себя скажу, что мне здесь очень хорошо. Даже здоровье, на которое тоже имели влияние духовные тревоги, гораздо лучше. Стараюсь держаться по отношению С. А-ны как можно и мягче и тверже, и кажется более или менее достигаю цели ее успокоения... Она мне часто ужасно жалка. Как подумаешь, каково ей одной по ночам, которые она проводит больше половины без сна с смутным, но больным сознанием, что она не любима и тяжела всем, кроме детей, нельзя не жалеть.

1910 г. 28 августа. Кочеты. (Из писем).

Не думайте, что мне легко советовать мужественное, спокойное и даже радостное перенесение страданий,—легко, потому что я сам не испытываю их. Не думайте этого, потому что все люди подвержены страданиям, которые могут быть рассматриваемы, как бесцельные мучения, или—как испытания, религиозное, кроткое перенесение которых может быть, как ни странно это сказать, превращено в большое духовное

---

[1]) Здесь, в письме ко мне Л.Н. подразумевает обещание свое, данное жене—не видеться со мной (В. Ч.),

благо. Все мы подлежим этим испытаниям и часто—много более тяжелым, чем те, которые вы переживаете.

Помогай вам Бог, живущий в вас, сознавать себя. А когда есть это сознание, нет страданий, нет и смерти.

1910 г. 30 августа. Кочеты. (Из писем).

С. А. вчера уехала отсюда и очень трогательно прощалась со мной и с Таней и ее мужем, прося, очевидно искренно, со слезами у всех прощения. Она невыразимо жалка. Что будет дальше, не могу себе представить. «Делай, что должно перед совестью, Богом, а что будет, то будет»—говорю себе и стараюсь исполнять.

1910 г. 9 сентября. Кочеты. (Из писем).

Она очень раздражена, не раздражена, ce n'est pas le mot (это неподходящее слово) взволнована *болезненно*, подчеркиваю это слово. Она страдает и не может победить себя. Я сейчас только с ней говорил. Она приехала, думая, что я уеду вместе с ней, но я отказался, не определяя времени своего отъезда. И это очень ее огорчило. Что я дальше буду делать, не знаю, стараюсь нести крест на каждый день.

1910 г. 16 сентября. (Из писем).

Я все попрежнему в среднем и телесно и духовно состоянии. Стараюсь смотреть на мои тяжелые, скорее трудные отношения с С. А-ной, как на испытание, нужное мне, и которое от меня зависит обратить себе в благо, но редко достигаю этого. Одно скажу, что в последнее время «не мозгами, а боками», как говорят крестьяне, дошел до того, что ясно понял границу между противлением—деланием зла за зло, и противлением неуступания в той своей деятельности, которую признаешь своим долгом перед своей совестью и Богом. Буду пытаться...

1910 г. 18 сентября. (Из писем).

Я это понимаю и опытом знаю, что все то, что мы называем страданием,—на пользу нам.

1910 г. 6 октября. (Из писем).

Она больна и все другое, но нельзя не жалеть ее и не быть к ней снисходительным.

1910 г. 17 октября. (Из писем).

Вчера был очень серьезный день. Подробности фактические вам расскажут, но мне хочется рассказать свое—внутреннее. Жалею и жалею ее и радуюсь, что временами без усилия люблю ее. Так было вчера ночью, когда она пришла покаянная и начала заботиться о том, чтобы согреть мою комнату и, несмотря на измученность и слабость, толкала ставеньки, заставляла окна, возилась, хлопотала о моем... телесном покое. Что же делать, если есть люди, для которых (и то, я думаю, до времени) недоступна реальность духовной жизни. Я вчера с вечера почти собирался уехать в Кочеты, но теперь рад, что не уехал. Я нынче телесно чувствую себя слабым, но на душе хорошо.

1910 г. 26 октября. (Из дневника).

Мне очень тяжело в этом доме сумасшедших.

1910 г. 26 октября. (Из писем).

Третье это уже не столько мысль, сколько чувство, и дурное чувство—желание перемены своего положения. Я чувствую что-то не должное, постыдное в своем положении, и иногда смотрю на него,—как и должно—как на благо, а иногда противлюсь, возмущаюсь...

1910 г. 27 октября. (Из дневника).

Плохо кажется, а в сущности хорошо. Тяжесть отношений все увеличивается.

1910 г. 29 октября. Оптина пустынь. (Из писем).

Жду, что будет от семейного обсуждения—думаю—хорошее. Во всяком случае, однако, возвращение мое к прежней жизни теперь стало еще труднее—почти невозможно, вследствие тех упреков, которые теперь будут сыпаться на меня, и еще меньшей доброты ко мне. Входить же в какие-нибудь договоры я не могу и не стану. Что будет, то будет. Только бы как можно меньше согрешить...

Я не похвалюсь своим телесным и душевным состоянием, и то, и другое слабое, подавленное.

Жалко и больше всего ее самою. Только бы жалость эта была без примеси rancune (горьких чувств). И в этом не могу похвалиться.

1910 г. 29 октября. Оптина Пустынь — Шамардино. (Из дневника).

Мне очень тяжело было весь день, да и физически слаб. ...Дорогой ехал и все время думал о выходе из моего и ее положения, и не мог придумать никакого, а ведь он будет, хочешь, не хочешь, а будет, и не тот, который предвидишь. Да, думать только о том, чтобы не согрешить. А будет, что будет. Это не мое дело. Достал... Круг Чтения, и как раз читая 28, был поражен прямо ответом на мое положение: испытание нужно мне, благотворное мне. Сейчас ложусь. Помоги, Господи.

1910 г. 3 ноября. Ст. Астапово. (Последние слова, записанные Львом Николаевичем в свой дневник).

Fais ce que doit adv...[1]). И все на благо и другим, и, главное, мне.

Приведенный ряд выдержек из дневника и писем Толстого, хотя далеко еще не исчерпывает всего материала, но достаточно ясно обнаруживает то, что Л. Н-чу пришлось испытать в связи со своими семейными и домашними условиями в течение последних 30-ти лет своей жизни. Здесь, конечно, не затрагиваются все стороны его духовного роста, не выясняется весь ход его внутреннего развития за это время. Но того, что раскрывается перед нами в этих выдержках, достаточно, чтобы вызвать самое горячее сострадание к Л. Н-чу в его великом и продолжительном испытании и внушить глубокое уважение к его редкостной способности во всем винить самого себя и всегда стремиться не к тому, что хочется, а к тому, что должно. Вместе с тем здесь обнаруживается для нас в общих чертах тот путь, по которому он пришел к убеждению в том, что, если мы душевно страдаем, то сами в этом виноваты.

Как и у всякого, для кого открылся истинный смысл жизни, у Л. Н-ча после его внутреннего пробуждения в начале 80-х годов духовное сознание не могло, конечно,

---

[1]) Недописанная французская поговорка. В переводе полностью: «Делай, что должно, пусть будет, что будет».

остановиться на одной точке. И действительно, по приведенным отрывкам мы видим, что оно до самых последних дней его жизни росло и совершенствовалось, проникаясь все большею и большею степенью чистоты и силы.

Убеждаясь в том, что, несмотря на все свои старания, он не в состоянии привлечь свою жену к участию в его стремлениях, Л. Н. стал испытывать самые мучительные страдания, которые, как мы видели по его дневнику за 1884-й год, иногда до такой степени обострялись, что у него едва хватало сил их переносить. У него бывали даже минуты почти отчаяния и как бы возмущения против судьбы, в особенности тогда, когда он на опыте убеждался в том, что жена его слишком душевно от него далека для того, чтобы быть ему товарищем в переустройстве их жизни. В такую именно минуту у него вырвался этот мучительный вопль о том, что она навсегда останется «жерновом» на шее его и их детей. Но вместе с тем он старался принимать эти страдания со смирением и покорностью, как посылаемое ему испытание, и относиться с любовью и терпимостью к той, кто их вызывала.

Так, около этого же самого времени, при одном из тех исключительно редких случаев, когда в разговоре со мной он позволял себе касаться своих отношений к своей жене, он высказался приблизительно так: «Софью Андреевну нельзя осуждать: она не виновата в том, что не идет за мной. Ведь то, за что она теперь так упорно держится, есть то самое, к чему я же в течение многих лет ее приучал. Кроме того, в самое первое время моего пробуждения я слишком раздражался и настаивал, стараясь убедить ее в своей правоте. Я тогда выставил перед ней свое новое понимание жизни в такой противной, неприемлемой для нее форме, что совсем оттолкнул ее. И теперь я чувствую, что прийти к истине моим путем она, по моей же собственной вине, уже никогда не сможет. Дверь эта для нее закрыта. Но зато с радостью замечаю, что какими-то, мне совершенно непонятными, ей одной свойственными путями, она временами понемногу как будто подвигается в этом же самом направлении».

Около того же времени Л. Н. писал мне:

«Кто не любит брата, тот пребывает в смерти». Я это боками узнал. Я не любил, имел зло на близких, и я умирал

и умер. Я стал бояться смерти—не бояться, а недоумевать перед нею. Но стоило восстановить заповедь Христа: «не гневайся». Так просто, так мало и так огромно. Если есть один человек, которого не любишь,—погиб, умер. Я это опытом узнал». (Письмо от 28 декабря 1885 г.).

В тот же период своей жизни Л. Н. записал в своем дневнике уже появившееся в печати размышление о «хлороформе любви», замечательно ярко выражающее его сознание того, как следует помогать заблудившимся людям:

«Думал сначала так: разве можно указать людям их ошибку, грех, вину, не сделав им больно? Есть хлороформ и кокаин для телесной боли, но нет для души. Подумал так, и тотчас же пришло в голову: неправда, есть такой хлороформ душевный... Операцию ноги, руки делают с хлороформом, а операцию исправления человека делают больно, заглушая исправление болью, вызывая худшую болезнь злобы. А душевный хлороформ есть и давно известен, все тот же—любовь. И мало того: в телесном деле можно сделать пользу операцией без хлороформа, а душа такое чувствительное существо, что операция, произведенная над ней без хлороформа любви, всегда только губительна. Пациенты всегда знают это, требуют хлороформа и знают, что он должен быть... Ему (больному) больно, и он кричит, прячет больное место и говорит: «Не вылечишь и не хочу лечиться, хочу хуже болеть, если ты не умеешь лечить без боли...» И он прав. Человека, уже опутанного сетью, нельзя прямо тянуть,—ему сделаешь больно; надо мягко, нежно распутать прежде. Эта остановка, это распутывание и есть хлороформ любви... Вот это я почти понимал прежде, теперь же совсем понимаю и начинаю чувствовать»... [1])

Вырабатывая в себе терпимое и любовное отношение к людям заблудшим, начиная с самых ему близких, Л. Н. еще с ранних пор своего семейного испытания, все свои духовные силы полагал на то, чтобы не поддаваться своим душевным страданиям и чтобы не винить в них ни людей, ни внешние обстоятельства. И это сознание в нем постоянно крепло и утверждалось, помогая ему все меньше жалеть

---

[1]) (Дневник Л. Н. Толстого от 25 января 1889 г. См. Биографию Л. Н, Толстого» П. И. Бирюкова т. III, гл. III).

себя и все больше жалеть тех, от кого он страдал. Вначале, как мы видели, такое примирение с судьбою достигалось им лишь с величайшим душевным напряжением; но постепенно ему удавалось все больше и больше превозмогать самого себя путем этой многолетней неустанной борьбы. По крайней мере, таков, как мне кажется, общий вывод, получаемый из его дневника и писем. Вывод, подтверждаемый также и тем непосредственным впечатлением, которое, в последние годы жизни Л. Н-ча, выносили от личного общения с ним многие из тех, кому выпадало на долю быть в близких сношениях с ним. Даже выражение его лица в этот последний период часто как бы светилось каким-то особенно одухотворенным отблеском.

Таково, в самых общих чертах, мое представление о последовательном росте внутреннего сознания у Л. Н-ча после его духовного пробуждения, поскольку рост этот связан с вопросом о его семейных страданиях и уходе. Представление это сложилось у меня, с одной стороны, на основании моей личной душевной близости и моего духовного единения со Л. Н-чем, равно как и моего продолжительного интимного знакомства с его семьей; а с другой—из внимательного проникновения во все то, что Л. Н. в разное время письменно высказывал.

Но слишком велика и слишком сложна тайна чужой души для того, чтобы кто-либо мог с уверенностью утверждать, что он ее вполне постиг даже в одном каком-нибудь отношении. А потому, высказывая здесь свое личное мнение, поскольку оно может для кого-либо иметь значение, я чувствую большое удовлетворение в том, что имел возможность в значительной доле внести в содержание настоящей книги слова самого Льва Николаевича. Таким образом читателю доступно будет вывести свои собственные заключения из тех подлинных записей Л. Н-ча, которые я здесь привел в связи с своим изложением, и—самому для себя исправить то, в чем ему может показаться, что я ошибаюсь.

Хочется закончить еще двумя мыслями Л. Н-ча, обобщающими его понимание духовного значения страданий.

«Для человека, живущего духовной жизнью, страдание есть всегда поощрение к совершенствованию, просветлению,

приближению к Богу. Для таких людей страдание всегда может быть претворено в дело жизни». («Круг Чтения»).

«Крест, посланный нам, это то, над чем нам надо работать. Вся жизнь наша—эта работа. Если крест—болезнь, то нести ее с покорностью; если обида от людей, то уметь воздавать добром за зло; если унижение, то смириться; если смерть, то с благодарностью принять ее». («Путь Жизни») [1]).

---

[1]) См. Приложение 1-е.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение первое.

В виду того, что дневники и письма Л. Н-ча полностью еще не изданы, считаю необходимым сделать оговорку в связи с характером тех извлечений из них, которые приведены мною в этой книге. Выдержки эти подобраны со специальной целью выяснить отношение Л. Н-ча к страданию вообще и к своим страданиям в частности. Поэтому содержание их по необходимости односторонне и никак не может дать общего представления о его преобладающем душевном настроении на протяжении последних 30-ти лет его жизни. Это общее настроение, несмотря на тяготившие Л. Н-ча внешние условия, несомненно было жизнерадостное, соответственно свойствам его собственной природы, и исполнено внутреннего удовлетворения, как могут засвидетельствовать все те, кто вступал с ним за это время в близкое и достаточно продолжительное общение. И в этом, т.-е. в том, что он сохранил эти свойства, несмотря на все испытания, которым он подвергался в течение всего этого периода,—я вижу одну из самых замечательных сторон его подвижничества.

Ведь в самом деле, стоит на минуту войти душою в его тогдашнее положение для того, чтобы поистине изумиться перед тем, чего ему удалось достигнуть в своей внутренней жизни. Любовь к свободе вообще и к личной независимости была в исключительной степени свойственна его могучей личности. Запросы художественного творчества влекли его к продолжительным и дальним отсутствиям из дома среди возможно более разнообразной природы и самых различных слоев человечества. Работа его мысли после его духовного пробуждения нуждалась в самом близком его общении с рабочим народом. Для удовлетворения своих душевных потребностей ему нужно было иметь возможность беспрепятственно принимать у себя дома, без всякого ограничения и стеснения, всех и каждого из тех, с кем желал бы общать-

ся, а, следовательно, оказывать гостеприимство, сажать, при случае, за свой стол, оставлять у себя ночевать—и местного крестьянина, пришедшего к нему в гости, и прохожего странника, уставшего с пути, и прибывшего издалека посетителя, ищущего духовного общения и помощи... И всего этого,—столь нужного Толстому, как художнику и мыслителю и, главное, как духовно-живущему человеку,—всего этого он был лишен благодаря семейному эгоизму и сословным предрассудкам, господствовавшим в его доме, в котором властвовало своеволие женщины. Будучи совершенно равнодушной к его духовным запросам и бесчувственной к его страданиям от этих лишений, С. А., по примеру первого периода их семейной жизни, и в старости, несмотря на происшедший в муже духовный переворот, ожидала от него постоянного пребывания при ней и лишь изредка соглашалась на непродолжительные его отлучки, и то с большим разбором. Нарушать же эти ее требования Л. Н. не мог, не нарушая вместе с тем и той наименьшей доли домашнего мира, без которого жизнь его в семье теряла всякий смысл. И несмотря на всю тяжесть этих, не поддающихся словесному описанию и тянувшихся три десятка лет семейных условий, которые для нас, людей обыкновенных, были бы поистине удручающими,—Л. Н. не только не предавался отчаянию, но даже не пенял на свою судьбу. Напротив того, он сам себя винил в своих страданиях, приписывая их своему несовершенству, и напрягал все свои силы к тому, чтобы возможно безупречнее исполнять свои семейные обязанности. «Мне хорошо, мне очень хорошо»,—часто говорил и писал он своим друзьям. Временами же он проявлял даже детскую веселость и иногда—шутил над теми самыми обстоятельствами, которые доставляли ему наибольшее страдание.

Замечательное обстоятельство это я объясняю исключительно тем, что Л. Н. твердо задался целью исполнять одну только волю Божью. Это, и только это, он ставил основной своей задачей и, ради осуществления ее, он, в течение всего этого второго, длительного периода своей женатой жизни, сознательно отказывался от удовлетворения своих личных потребностей, от всякого угождения себе. И, отрекаясь от себя и от всех так называемых радостей жизни, он попутно достигал истинной духовной радости и покоя, истинного блага.

Эта область внутренней жизни Л. Н-ча выходит, однако, за пределы теперешнего нашего исследования, и упомянул я о ней лишь для того, чтобы читатель не получил совершенно ошибочного представления о том, будто бы у Л. Н-ча отсутствовала та бодрая и заражавшая всех вокруг него жизнерадостность, которою он, напротив того, в высшей степени обладал [1]).

---

[1]) Коснувшись общего настроения душевной жизни Л. Н-ча, предвижу, что приведенные мною выдержки из его дневников и писем усилят во многих читателях чувство сожаления о том, что им до сих пор не предоставлена возможность прочесть полностью этот драгоценный материал. А потому считаю необходимым заявить, что главные препятствия к продолжению начатой несколько лет тому назад серии выпусков дневников Толстого и к систематическому изданию всех его писем — теперь, к счастью, преодолены и что издание Первого Полного Собрания всех Писаний Л. Н. Толстого в настоящее время усиленно готовится к печати.

Содержание этой книги вообще далеко не исчерпывает всего материала, касающегося истории ухода Толстого. Например, переписка Л. Н-ча с А. А. Ернефельтом в 1898 году с намеком на готовность к уходу осталась мною неиспользованной. Желающих ознакомиться с этим эпизодом отсылаю к книге Арвида Ернефельта «Мое пробуждение» (перевод с финского) под редакцией К. С. Шохор—Троцкого, изд. «Об-ва Истинной Свободы» М. 1921 г. (см. Предисловие, стр. XX).

Приложение второе.

1.

Дополнительные сведения о завещательных распоряжениях Л. Н. Толстого [1]).

В связи с распоряжениями Льва Николаевича Толстого относительно издания оставшихся после него бумаг появилось, за истекшие после его смерти годы, столько искаженных и даже прямо вымышленных сообщений, что у общества не могло не получиться самого превратного, а в лучшем случае запутанного представления об этом деле. До сих пор я избегал без крайней необходимости опровергать по мелочам различного рода, столь упорно устно и печатно распространяемые, недоброжелательные измышления, полагая, что в свое время, при опубликовании истинных фактов по имеющимся материалам, правда восторжествует.

С тех пор, как, в начале 80-х годов, у Л. Н-ча, вместе с выяснением им своего жизнепонимания, изменилось и его отношение к литературной собственности, он неоднократно выражал свои желания и делал распоряжения в связи с издательскими правами на его писания при его жизни и после его смерти.

Так, 16 сентября 1891 г. он поместил в «Русских Ведомостях» письмо в редакцию следующего содержания:

«М. Г. Вследствие часто получаемых мною запросов о разрешении издавать, переводить и ставить на сцене мои сочинения, прошу вас поместить в издаваемой вами газете следующее мое заявление.

---

[1]) Статья эта была мною уже опубликована при издании Т. I. «Дневника Л. Н. Толстого» (1911 г. Москва) в отделе Приложений.

«Предоставляю всем желающим право безвозмездно издавать в России и за границей по-русски и в переводах, а равно и ставить на сценах все те из моих сочинений, которые были написаны мною с 1881 года и напечатаны в XII томе, изданном в нынешнем 1891 году, равно и все мои неизданные в России и могущие вновь появиться после нынешнего дня сочинения. Л. Толстой».

Впоследствии Л. Н. неоднократно касался вопроса о судьбе своих писаний после своей смерти, высказываясь по этому поводу то в личных беседах, то в своем дневнике, то в частных письмах.

В печати уже появлялась выдержка такого рода из его дневника от 27 марта 1895 года [1]). О том же он записал в своем дневнике и 4 февраля 1909 г.: «Теперь же, после моей смерти, я прошу моих наследников отдать землю крестьянам и отдать мои сочинения, не только те, которые отданы мною, но и все, все, в общее пользование. Если они не решатся исполнить обе мои посмертные просьбы, то пускай исполнят хоть одну первую. Но лучше будет — и для них — если они исполнят обе».

В обеих этих записях, по отношению к своим писаниям первого периода, Л. Н. еще не выражает своей воли в форме категорических распоряжений, но лишь высказывает свои пожелания, делая в первой записи даже оговорку о том, что только просит, а никак не завещает. По отношению же к писаниям второго периода Л. Н. всегда категорически подтверждал вышеприведенное, опубликованное в газетах, распоряжение, о чем также свидетельствует его запись в дневнике 8 марта 1909 г.: «Подтверждая то, что я написал в своем дневнике от 4 февраля нынешнего года о том, что прошу моих наследников отдать мои сочинения в общее пользование, поясняю, во избежание всяких недоразумений, что разумею писания мои, изданные до 1881 года. Все написанное мною после того, равно как и написанное раньше, но не изданное до 1881 года, я сам раз навсегда уже

---

[1]) Текст этой записи был впервые напечатан в «Толстовском Ежегоднике 1912 г.» (изд. О-ва Толстовского Музея в СПБ. и Толстовского О-ва М., М. 1912 г., стр. 9—11) и помещается здесь ниже под литерой А.

отдал в всеобщее пользование, и потому этими писаниями моими наследники мои ни в каком случае ни владеть, ни распоряжаться не должны».

По этим записям видно, что в связи с своими писаниями Л. Н. был озабочен, главным образом, тем, чтобы после его смерти наследники его не предъявляли своих авторских прав на какие бы то ни было его сочинения, а сделали бы их общим достоянием; и чтобы его посмертные писания, в особенности его дневник, были изданы лишь после тщательного редакционного просмотра, и не было бы, как он выразился, сохранено в них того, что не нужно сохранять, или отброшено то, что нужно сохранить.

Л. Н-чу, следовательно, необходимо было назначить своим «литературным душеприказчиком» такое лицо, которому он мог бы со спокойной совестью поручить предстоящий после его смерти пересмотр, редактирование и издание всех оставшихся после него бумаг.

«Я знаю—писал он мне 28 февраля 1900 г. в Англию,—что никто не относится с таким преувеличенным уважением и любовью к моей духовной жизни и ея проявлениям, как вы. Я это всегда и говорю и пишу, и это написал в записке о моих желаниях после моей смерти, прося именно вам и только вам поручить разборку моих бумаг».

В 1904 году, продолжая жить в Англии во время моей высылки из России и не видавшись со Л. Н-чем в течение семи лет, я получил от него еще следующее письмо, которое, ввиду его содержания, мне несколько неловко печатать, к чему, однако, я вынужден прибегнуть ради полноты и последовательности сообщаемых мною сведений.

«1904. 13/26.

«Дорогой друг Владимир Григорьевич,

«В 1895 году я написал нечто в роде завещания, т.-е. выразил близким мне людям мои желания о том, как поступить с тем, что останется после меня. В этой записке я пишу, что все бумаги мои я прошу разобрать и пере-

смотреть мою жену, Страхова и вас. Вас я прошу об этом, потому что знаю вашу большую любовь ко мне и нравственную чуткость, которая укажет вам, что выбросить, что оставить, и когда и где и в какой форме издать. Я бы мог прибавить еще и то, что доверяю особенно вам еще и потому, что знаю вашу основательность и добросовестность в такого рода работе и, главное, полное наше согласие в религиозном понимании жизни.

«Тогда я ничего не писал вам об этом, теперь же, после девяти лет, когда Страхова уже нет, и моя смерть во всяком случае недалека, я считаю нужным исправить упущенное и лично высказать вам то, что сказано о вас в той записке, а именно то, что я прошу вас взять на себя труд пересмотреть и разобрать оставшиеся после меня бумаги и вместе с женою моей распорядиться ими, как вы найдете это нужным.

«Кроме тех бумаг, которые находятся у вас, я уверен, что жена моя или (в случае ея смерти прежде вас) дети мои не откажутся, исполняя мое желание, не откажутся сообщить вам и те бумаги, которых нет у вас, и с вами вместе решить, как распорядиться ими.

«Всем этим бумагам, кроме дневников последних годов, я, откровенно говоря, не приписываю никакого значения и считаю какое бы то ни было употребление их совершенно безразличным. Дневники же, если я не успею более точно и ясно выразить то, что я записывал в них, могут иметь некоторое значение, хотя бы в тех отрывочных мыслях, которые изложены там. И потому издание их, если выпустить из них все случайное, неясное и излишнее, может быть полезно людям, и я надеюсь, что вы сделаете это так же хорошо, как делали до сих пор извлечения из моих неизданных писаний, и прошу вас об этом.

«Благодарю вас за все прошедшие труды ваши над моими писаниями и вперед за то, что вы сделаете с оставшимися после меня бумагами. Единение с вами было одной из больших радостей последних лет моей жизни.

«Лев Толстой».

Спустя несколько лет, Л. Н. нашел необходимым обеспечить исполнение своей воли более определенными распоряжениями. Первый шаг в этом направлении он сделал летом 1909 г., обратившись к родственнику своему, председателю новочеркасской судебной палаты, Ивану Васильевичу Денисенко, гостившему в то время в Ясной Поляне, с просьбой составить для него, Л. Н-ча, бумагу, предоставляющую во всеобщее пользование право издания всех без исключения его писаний. И. В. Денисенко изъявил согласие содействовать Л. Н-чу в этом деле, предвидя однако, что подобная бумага в юридическом отношении не могла бы иметь обязательного значения для наследников Л. Н-ча.

В вышеприведенном письме своем ко мне от 13 мая 1904 г. так же, как и в своем дневнике от 27 марта 1895 г., Л. Н. поручает распоряжение своими бумагами после своей смерти своей жене и мне, рассчитывая на то, что она и дети его, о которых он также упоминает, окажут мне необходимое содействие при пересмотре и разборке его бумаг. Но в течение последующих лет для Л. Н-ча обнаружились некоторые обстоятельства, убедившие его в том, что ему следует доверить распоряжение его бумагами после его смерти только такому лицу, которое вполне разделяет его отношение к литературной собственности и, вместе с тем, свободно от всяких личных или семейных пристрастий. Поэтому он решил прибегнуть к составлению завещания следующего содержания:

Завещание.

«Заявляю, что желаю, чтобы все мои сочинения, литературные произведения и писания всякого рода, как уже где-либо напечатанные, так и еще не изданные, написанные или впервые напечатанные с 1 января 1881 года, а равно и все написанные мною до этого срока, но еще ненапечатанные,—не составляли бы после моей смерти ничьей частной собственности, а могли бы быть безвозмездно издаваемы и перепечатываемы всеми, кто этого захочет. Желаю, чтобы все рукописи и бумаги, которые останутся после меня, были бы переданы Владимиру Григорьевичу Черткову с тем, чтобы он и после моей смерти распоряжался ими, как он распоряжается ими теперь, для того, чтобы все мои писания

были безвозмездно доступны всем желающим ими пользоваться для издания. Прошу Владимира Григорьевича Черткова выбрать также такое лицо или лица, которому бы он передал это уполномочие на случай своей смерти. Лев Николаевич Толстой. Крекшино, 18 сентября 1909 г.

«При подписании настоящего завещания присутствовали и сим удостоверяют, что Лев Николаевич Толстой при составлении настоящего завещания был в здравом уме и твердой памяти: Свободный художник Александр Борисович Гольденвейзер. Мещанин Алексей Петрович Сергеенко. Александр Васильевич Калачев, мещанин.

«Настоящее завещание переписала Александра Толстая».

Но это завещание также оказалось неудовлетворительным как по существу, так и по форме. Желательно было так обставить завещание с юридической точки зрения, чтобы оно, по возможности, не подавало никаких поводов к возбуждению судебного иска. А между тем завещание, выражавшее желание Л. Н-ча о том, чтобы его писания не составляли после его смерти «ничьей частной собственности», с этой стороны не достигало цели, так как, по русским законам, завещать собственность возможно только определенному юридическому лицу. Кроме того, и по изложению своему завещание не удовлетворяло всем требуемым формальностям.

Л. Н-чу, таким образом, предстояло выбрать одно из двух: или удовлетвориться этим завещанием, которое почти наверное подало бы повод к возбуждению со стороны кого-нибудь судебного преследования против тех, кому он поручил осуществление своей воли, при чем сделанные им распоряжения оказались бы практически неосуществимыми; или же—предоставить сведущим людям облечь изложение его распоряжений в такую форму, при которой завещание его стало бы даже с юридической стороны неуязвимым.

Разумеется, Л. Н-чу было неприятно прибегать к внешней форме официального завещания, но, с другой стороны, он опасался, что педантическое проведение своего отрицательного отношения к официальной форме может воспрепятствовать передаче его писаний после его смерти в общее достояние. К тому же юридическая формулировка завещания требовалась, в данном случае, не для обеспе-

чения возможности возбуждения каких-либо исков или судебных разбирательств, а наоборот—ради предупреждения подобной возможности. На основании именно этого последнего соображения Л. Н., которому, при всей радикальности его убеждений, вовсе не была свойственна мелочная педантичность,—и решился написать завещание, внешне удовлетворяющее необходимым официальным требованиям.

При составлении этого нового завещания было, по моей просьбе, сделано им одно изменение. Не отказываясь от порученной мне Л. Н-чем ответственной задачи распорядиться его писаниями после его смерти, я, однако, не хотел сгановиться в положение «юридического» наследника, и потому настоятельно просил Л. Н-ча избрать для этой цели тех членов его семьи, которым он мог наиболее довериться в этом отношении. В моем нежелании быть юридическим наследником я руководствовался несколькими соображениями. Я был уверен, что для жены и детей Л. Н-ча будет менее неприятно, если официальным наследником будет кто-нибудь из членов их семьи. Кроме того, предвиделись в будущем довольно сложные переговоры с семьею Толстых в связи с выкупом, согласно желанию Л. Н-ча, яснополянского имения для передачи его местным крестьянам, и я знал, что вести эти переговоры с владельцами земли будет также удобнее всего кому-нибудь из представителей самой семьи. Наконец, были у меня еще и другие мотивы чисто личного характера.

Поэтому, при окончательной редакции завещания, Л. Н. назначил официальной наследницей свою младшую дочь, Александру Львовну Толстую, которой, вследствие своего полного доверия к ней, он мог спокойно поручить защиту своего литературного наследия от посягательства обратить его в чью-либо исключительную собственность.

При этом мы трое одинаково понимали это распоряжение в том смысле, что задача А. Л-ны будет заключаться в том, чтобы обеспечить мне возможность беспрепятственно распорядиться литературным наследством Л. Н-ча, следуя данным им мне указаниям.

(Текст написанного Л. Н-чем при этих условиях «юридического домашнего завещания» помещен дальше под литерой Б.).

Одновременно с этим Л. Н. просил меня приготовить для него объяснительную записку частного характера, содержащую указание на его *действительное* отношение к своему «юридическому» завещанию вместе с изложением распоряжений, сделанных им для нашего, т.-е. А. Л-ны и моего руководства. Бумагу эту я составил, точно придерживаясь данных мне Л. Н-чем указаний, и доставил ему в тот самый день, когда он написал свое последнее завещание. Л. Н. ее внимательно прочел и вернул мне для переписки, прося внести в нее указанные им две поправки [1]). Этой дополнительной бумаге, содержавшей действительные распоряжения Л. Н-ча относительно своих писаний после его смерти, он придавал настолько серьезное значение, что в течение последующих дней неоднократно напоминал мне о ней, прося меня поторопиться с ее окончательной перепиской [2]).

Поручая мне составить эту бумагу согласно данным мне им самим указаниям, Л. Н. полагал, что форма ея изложения будет от первого лица, и собирался ее собственноручно переписать; но я позволил себе изложить ее в третьем лице, так как это мне казалось, в данном случае, более естественным, чем если бы я стал писать от его лица. Кроме того, мне хотелось избавить Л. Н-ча, уже три раза собственноручно переписавшего свое официальное завещание, еще от лишнего труда своею же рукой переписывать все содержание также и этой записки. Будучи проникнут сознанием того, что если юридически обставленное завещание умершего лица требует самого точного исполнения, то тем более требуют того же такие

---

[1]) Одна из этих поправок Л. Н-ча заключалась в том, что он предоставляет после своей смерти во всеобщее пользование все решительно когда бы то ни было им написанное, а не только написанное им после 1881 года, как было сказано в моем черновом изложении.

[2]) Так, например, 29 июля я получил от А. Л-ны записку, в которой она писала: «Отец просил Вас подготовить бумагу о том, что он поручает Вам распоряжаться его неизданными сочинениями».

его определенно выраженные распоряжения, которые основаны единственно на личном доверии,—мне казалось, что совершенно безразлично, в какой форме и чьей рукой это заявление написано, если только содержание его подтверждено Л. Н-чем собственноручно. А так как указания эти предназначались исключительно для руководства А. Л-ны и моего, то и Л. Н., с своей стороны, был твердо уверен в том, что и в этой форме мы оба будем свято чтить его последнюю волю и не позволим себе ни в чем отступить от этих его распоряжений.

Привожу здесь полностью содержание этой *объяснительной записки* к завещанию Л. Н-ча.

«Так как Л. Н. Толстой написал завещание, по которому оставляет после своей смерти все свои писания «в собственность» своей дочери Александре Львовне Толстой, а в случае ее смерти раньше его смерти,—Татьяне Львовне Сухотиной, то необходимо объяснить, во-первых, почему, сам не признавая собственности, он составил подобное завещание, а, во-вторых, как он желает, чтобы было поступлено с его писаниями после его смерти.

«К «формальному» завещанию, имеющему юридическую силу, Л. Н. прибег не ради утверждения за кем бы то ни было собственности на его писания, а наоборот для того, чтобы предупредить возможность обращения их после его смерти в чью-либо частную собственность.

«Для того, чтобы предохранить тех, кому он поручил распорядиться его писаниями согласно его указаниям, от возможности отнятия у них этих писаний на основании законов о наследстве, Л. Н-чу представлялся только один путь: написать обставленное всеми требуемыми законом формальностями завещание на имя таких лиц, в которых он уверен, что они в точности исполнят его указания о том, как поступить с его писаниями. Единственная, следовательно, цель написанного им «формального» завещания заключается в том, чтобы воспрепятствовать предъявлению со стороны кого-либо из его семейных их юридических прав на эти писания в том случае, если эти семейные, пренебрегая волей Л. Н-ча относительно его писаний, пожелали бы обратить их в свою личную собственность.

«Воля же Л. Н-ча относительно своих писаний такова:

«Он желает, чтобы:

«1) Все его сочинения, литературные произведения и писания всякого рода, как уже где-либо напечатанные, так и еще неизданные, не составляли после его смерти *ничьей частной собственности*, а могли бы быть издаваемы и перепечатываемы всеми, кто этого захочет.

«2) Чтобы все рукописи и бумаги (в том числе: дневники, черновики, письма и проч., и проч.), которые останутся после него, были

переданы В. Г. Черткову с тем, чтобы последний, после смерти Л. Н-ча, занялся пересмотром их и изданием того, что он в них найдет желательным для опубликования, при чем в материальном отношении Л. Н. просит В. Г. Черткова вести дело на тех же основаниях, на каких он издавал писания Л. Н-ча при жизни последнего [1]).

«3) Чтобы В. Г. Чертков выбрал такое лицо или лица, которым передал бы это уполномочие на случай его, Черткова, смерти, с тем, чтобы и это лицо или эти лица поступили так же на случай своей смерти, и так далее до минования в этом надобности.

«4) Чтобы те лица, кому Л. Н. завещал «формальную» собственность на все его писания, завещали эту собственность дальнейшим лицам, избранным по соглашению с В. Г. Чертковым или теми, кому перейдет вышеупомянутое уполномочие Черткова, и так далее до минования в этом надобности.

(На подлинном Л. Н. Толстым собственноручно приписано):

«Совершенно согласен с содержанием этого заявления, составленного по моей просьбе и в точности выражающее мое желание.

Лев Толстой 31 июля, 1910».

А.

Завещание Л. Н. Толстого. Из Дневника 27 марта 1895 г. Москва.

Мое завещание было бы приблизительно такое (пока я не написал другого—оно вполне такое).

1) Похоронить меня там, где я умру, на самом дешевом кладбище, если это в городе, в самом дешевом гробу, как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священника и отпевания. Но если это неприятно тем, кто будет хоронить, то пускай хоронят, как обыкновенно, с отпеванием, но как можно подешевле и попроще.

2) В газетах о смерти не печатать и некрологов не писать.

3) Бумаги все мои дать пересмотреть и разобрать моей жене, Черткову, Вл. Гр., Страхову [и дочерям Тане и Маше [2]] (что замарано, замарал я сам. Дочерям не надо этим заниматься)—тем из этих лиц, которые будут живы. Сыновей своих я исключаю из этого поручения, не потому, что я не любил их (я, слава Богу, в послед-

---

[1]) Под этими словами, продиктованными самим Л. Н-чем для того, чтобы, как он при этом объяснил своим друзьям, оградить меня в будущем от всяких нареканий,—он разумел, что, распоряжаясь прибылью от предстоящих изданий, я должен употреблять ее, как это было и при его жизни, для таких целей, которым он сочувствовал.—См. воспоминание А. П. Сергеенко: «Как писалось завещание Л. Н. Толстого». («Толстовский Ежегодник 1913 г.», изд. о-ва Толст. Музея в Спб. и Толст. о-ва в М.).

[2]) Слова, поставленные в прямых скобках, в оригинале зачеркнуты. *Ред.*

нее время все больше и больше любил их) и знаю, что они любят меня, но они не вполне знают мои мысли, не следили за их ходом и могут иметь свои особенные взгляды на вещи, вследствие которых они могут сохранить то, что не нужно сохранять, и отбросить то, что нужно сохранить. Дневники моей прежней холостой жизни, выбрав из них то, что стоит того, — я прошу уничтожить — точно так же и в дневниках моей женатой жизни прошу уничтожить все то, обнародование чего могло бы быть неприятно кому-нибудь. Чертков обещал мне еще при жизни моей сделать это. И при его, незаслуженной мною большой любви ко мне и большой нравственной чуткости, я уверен, что он сделает это прекрасно.

Дневники моей холостой жизни я прошу уничтожить не потому, что я хотел бы скрыть от людей свою дурную жизнь,—жизнь моя была обычная дрянная жизнь беспринципных молодых людей, но потому, что эти дневники, в которых я записывал только то, что мучило меня сознанием греха, производят ложно одностороннее впечатление и представляют... А впрочем, пускай остаются мои дневники, как они есть, из них видно, по крайней мере, то, что несмотря на всю пошлость и дрянность моей молодости, я все-таки не был оставлен Богом и хоть под старость стал хоть немного понимать и любить Его.

Все это я пишу не потому, чтобы приписывал большую или какую-либо важность моим бумагам, но потому, что вперед знаю, что в первое время после моей смерти будут печатать мои сочинения и рассуждать о них и приписывать им важность. Если уже это так сделалось, то пускай мои писания не будут служить во вред людям.

Из остальных бумаг моих прошу тех, которые займутся разбором их, печатать не все, а то только, что может быть полезно людям.

4) Право издания моих сочинений прежних: десяти томов и азбуки,—прошу моих наследников передать обществу, т.-е. отказаться от авторского права [1]). Но только прошу об этом и никак не завещаю. Сделаете это—хорошо. Хорошо это будет и для вас; не сделаете—это ваше дело. Значит, вы не готовы этого сделать. То, что сочинения мои продавались эти последние 10 лет,—было самым тяжелым для меня делом в жизни.

5) Еще и главное, прошу всех и близких и дальних не хвалить меня (я знаю, что это будут делать, потому что делали и при жизни самым нехорошим образом),—а если уже хотят заниматься моими писаниями, — то вникнуть в те места из них, в которых, я знаю, говорила через меня Божия сила, и воспользоваться ими для своей жизни. У меня были времена, когда чувствовал, что становился

---

[1]) Л. Н. говорит здесь только о сочинениях первого периода, т.-е. написанных им до 1881 г., потому что на издание их при своей жизни он дал временную доверенность своей жене; свои же писания после 1881 г. он уже раньше (в 1891 г.) предоставил во всеобщее пользование посредством опубликования в газетах (см. о том же выше.)

проводником воли Божией. Часто я был так нечист, так исполнен страстями личными, что свет этой истины затемнялся моей темнотой, но все-таки иногда эта истина проходила через меня и это были счастливейшие минуты моей жизни. Дай Бог, чтобы прохождение их через меня не осквернило этих истин, чтобы люди, несмотря на тот мелкий, нечистый характер, который они получили от меня, могли бы питаться ими.

В этом только значение моих писаний. И потому меня можно только бранить за них, а никак не хвалить.

Вот и все.

Подпись.

Б.

Текст собственноручного завещания Льва Николаевича Толстого, утвержденного Тульским Окружным Судом к исполнению 16 ноября 1910 г.

Тысяча девятьсот десятого года, июля (22) двадцать второго дня, я, нижеподписавшийся, находясь в здравом уме и твердой памяти, на случай моей смерти, делаю следующее распоряжение: все мои литературные произведения, когда-либо написанные по сие время и какие будут написаны мною до моей смерти, как уже изданные, так и неизданные, как художественные, так и всякие другие, оконченные и неоконченные, драматические и во всякой иной форме, переводы, переделки, дневники, частные письма, черновые наброски, отдельные мысли и заметки,—словом, все без исключение мною написанное по день моей смерти, где бы таковое ни находилось и у кого бы ни хранилось, как в рукописях, так равно и напечатанное и при том, как право литературной собственности на все без исключения мои произведения, так и самые рукописи и все оставшиеся после меня бумаги завещаю в полную собственность дочери моей Александре Львовне Толстой. В случае же, если дочь моя Александра Львовна Толстая умрет раньше меня, все вышеозначенное завещаю в полную собственность дочери моей Татьяне Львовне Сухотиной. Лев Николаевич Толстой. Сим свидетельствую, что настоящее завещание действительно составлено, собственноручно написано и подписано графом Львом Николаевичем Толстым, находящимся в здравом уме и твердой памяти. Свободный художник Александр Борисович Гольденвейзер. В том же свидетельствую, мещанин Алексей Петрович Сергеенко. В том же свидетельствую, сын подполковника Анатолий Дионисиевич Радынский.

2.

Подробной истории каждого из этих документов я не касаюсь здесь, чтобы не обременять изложения. Но историю первого завещания, написанного . Н-чем в

1895 г., изложенную в письме ко мне Н. Л. Оболенского, — мужа его дочери Марии Л-ны, считаю желательным сообщить здесь читателям в виду того, что этот характерный эпизод бросает яркий свет на связывавшие Л. Н-ча семейные отношения и условия, в конце-концов побудившие его не сообщать жене о составлении им своего последнего завещания, которое легко могло бы подвергнуться той же участи, как и его первоначальный проект 1895 года. (См. выше).

Письмо Н. Л. Оболенского о судьбе завещания 1895 г.

8 октября 1902 года. Ясная Поляна.

Дорогой Владимир Григорьевич, в моем последнем письме я говорил Вам, что перед этим письмом написал вам длинное, которого не послал по причинам, от меня независящим. Теперь мне хочется объяснить Вам, в чем было дело. Как Вам известно, в одной из тетрадей дневников Л. Н. есть его завещание. Оно очень важно для тех, кому дорого все, что связано с Л. Н-чем. Так как дневники в руках С. А. и Румянцевского Музея, т.-е. русского правительства, то, вероятно и даже наверное, завещание это не увидит света. По счастью года два тому назад Л. Н. по просьбе Маши достал из музея эти дневники. Маша нашла и переписала завещание. А так как, когда имеешь дело с недобросовестным человеком, то никогда не знаешь чего ожидать, то, чтобы завещание это имело прочность мы решили дать его подписать Л. Н-чу. Цель его, разумеется, была не та, чтобы заставить кого-либо силою отречься от своих наследственных прав, но во-первых, может быть, самое существование этого завещания с его подписью заставило бы призадуматься тех из его наследников, кто захотел бы пользоваться его сочинениями, и во-вторых, главное, чтобы после смерти Л. Н-ча можно было бы прекратить нарекания на его память и упреки в том, что вот он говорит одно, а сделал другое. Т.-е. можно бы было показать, что он желал сделать и что сделали его наследники, несмотря на то, что—«продажи его сочинений были

для него последние десять лет самым тяжелым во всей его жизни». Я говорю наследники, но в сущности говорю про одну С. А., у которой нет ни стыда, ни совести, остальных не имею право никого включать сюда, ибо не знаю их мнений, кроме Сережи, Тани, Саши и Маши. Показать же людям, чего он желал, я считаю очень важным, потому что нам и всем близким, разумеется, все равно будут или не будут продаваться сочинения Л. Н-ча, но для людей чуждых важно, чтобы ни одна из мелочей, которые могут быть наговорены на Л. Н., чтобы ни одна из них не могла никого оттолкнуть от правильного понимания его и не могла служить поводом к осуждению его.

Но, правду сказать, Маша долго не решалась дать подписать это завещание Л. Н-чу, потому что не хотела наводить его на неприятные разговоры и мысли. Приехавши в июне прошлого года в Ясную, мы застали Л. Н-ча совсем больным и очень расстроенным, но еще до его большой болезни. Маша раз зашла к нему в кабинет, и он очень откровенно разговорился с ней и о своей болезни и смерти возможной. Маша тут и сказала, что ее очень беспокоит вопрос его завещания и она хочет просить его подписать его. Он очень благодарил ее за эти заботы, спросил, что написано в этом завещании. Она ему сказала и, между прочим, то, что, по его смерти, все свои бумаги он просит отдать Вам и С. А. Узнав про С. А. он очень удивился, что написал это, хотел вычеркнуть ее и даже сказал Маше: «Ты, пожалуйста скажи, чтобы отдать только Черткову». Очевидно в это время С. А. была ему ужасно тяжела. Завещание было не с нами, и потому тут только был разговор, но подписано оно не было. И в эти же дни он сильно заболел, так что дело отложилось. Когда он уже поправился, было это в августе или конце июля, Маша дала ему завещание, он перечел и сказал: «Пусть мама останется, а то, если я ее вычеркну, это ее обидит, а написано это было в хорошую минуту, пусть так и останется». И подписал, отдавши Маше на хранение. Никто, кроме нас трех этого не знал. Но тут же, как-то Илюша спросил, есть ли какое распоряжение отца на случай его смерти. Маша не сочла себя вправе скрывать и сказала, что есть и подписано и хранится у нее.

Я даже помню почему зашел разговор: С. А. хотела после смерти Л. Н. подавать прошение Государю, чтобы похоронить его по церковному обряду, и когда мы возмутились и сказали—Таня, кажется, или кто-то,—что ведь у папá в дневнике есть распоряжение об этом, то С. А. сказала: «Ну, кто там будет копаться искать». Вот вследствие этого-то Илюша и спросил. Мы его очень просили держать это в тайне, но он неизвестно почему рассказал С. А-не, что есть завещание у Маши. Нас тогда уже не было в Ясной, это было в конце августа. Тут разгорелось, говорят, Бог знает что... Про С. А-ну уже и говорить нечего. С ее стороны я объяснил это только опасением, что у нее пропадут доходы с сочинений... Потом мы уехали в Крым... Все это стало заглушаться и забываться. Но вот С. А-не понадобилось печатать новое собрание сочинений, и я, предчувствуя разговоры и опасаясь за целость этой бумаги, хотел ее послать Вам, если бы Вы согласились принять ее, это было уже в сентябре этого года, и тогда-то и написал все Вам подробно. Но послать постеснялся, не спрашивая у Л. Н-ча, и спрашивать—не хотелось его тревожить, и я не послал и письмо к вам уничтожил. И очень жалею об этом.

На днях С. А. пришла ко Л. Н-чу и сказала, что просит взять эту бумагу у Маши и отдать ей, потому что она имеет к Маше злобные чувства, и тогда это пройдет. Л. Н. не решился противиться ей и взял эту бумагу и отдал ей. Я пробовал говорить об этом с С. А-ной но, разумеется, ни до чего не договорился. Когда человек так беззастенчив и неправдив, как она, то ни до чего договориться нельзя. Одно, что она мне ясно сказала: «Я теперь затратила 50.000 р. на новое издание, и если папа умрет, и бумага эта будет обнародована, то я не верну своих денег, и потому я эту бумагу взяла и никому не отдам». Когда я пробовал сказать ей, что все-таки ее нельзя стереть с лица земли, т. к. в дневниках она есть, то она беззастенчиво ответила, что дневники в музее, ключ у нее, и она их положит туда на 50 лет вместе с своими». Вот и все. И в руках этой женщины судьба всех сочинений и бумаг Л. Н-ча. Это ужасно, и ничего сделать нельзя. Нет вещи,

перед которой она бы остановилась. Она все может сделать и все сделает. Впрочем, умолкаю, но твердо намерен, в случае нужды, всеми средствами добиться того, чтобы все знали о том, какое было завещание Л. Н-ча.

До свидания... Маша Вам шлет привет и вполне одобряет то, что я здесь написал.

Ваш Н. Оболенский.

История письма Л. Н-ча к С. А-не 1897 года.

Приводим следующее сообщение Н. Л. Оболенского о судьбе письма Л. Н-ча к жене, написанного по поводу его намерения уйти из дому. Содержание же второго письма, «разорванного» при получении его С. А-ной—осталось никому неизвестным.

«Вот как было дело.

«В Гаспре, один раз, когда Маша оставалась одна с Л. Н. в комнате, во время его самого тяжелого периода болезни, он, думая, что умрет, велел Маше, когда она приедет в Ясную, пойти к нему в кабинет и там достать из одного из обитых клеенкой кресел, из-под низа его, из подкладки,—две бумаги, два белых запечатанных конверта, никому не адресованных и без всякой на них надписи, достать и написать на этих конвертах следующее: (это я помню дословно, так как тогда же все записал и выучил наизусть) на одном: «вскрыть через пятьдесят лет после моей смерти, если кому-нибудь интересен эпизод моей автобиографии»... Когда он это Маше сказал, она спросила его: «Что же—эти бумаги отдать Черткову?». Он ответил: «Зачем Черткову. Оставь у себя». Больше ничего не говорилось,— он ведь был очень слаб тогда. Маша тут же с его слов записывала это в его книжку и потом вырвала листок, который я сначала хранил у себя, а потом, выучив это, уничтожил. Потом Л. Н. поправился, мы все летом съехались в Ясной. Мы жили во флигеле и лето и начало зимы. Это было, стало быть, в 1902 году. В октябре или ноябре Л. Н.

---

[1]) Текст письма Л. Н-ча помещен выше, см. часть вторая, гл. VIII.

зашел к нам во флигель и спросил у Маши: «А где те бумажки, которые ты достала из кресла»? Маша говорит: «Я их и не трогала, думала—раз ты поправился, то этого не надо было делать». Он говорит: «Ну и отлично, пусть они там и остаются». Так тем дело и кончилось.

«Мне кажется, что он поискал их перед этим, но не нашел и подумал, что Маша их вынула, а найти их было трудно, потому что мы с Машей осматривали это кресло (оно было мечено) и не могли увидать даже и признаков того, что там что-нибудь спрятано, так он их глубоко запихал под нижнюю подкладку. Но все же после этих разговоров они там долго были, потому что Маша не раз говорила, что когда она бывала у него в кабинете одна, он иногда ей подмигивал и смеялся, показывая глазами на это кресло. Но говорить больше ничего не говорил. Потом мы уехали из Ясной, ездили за границу и про эти бумажки даже и забыли. Затем умерла Маша. Тогда я, не спрашивая о том Л. Н., рассказал о них Саше, чтобы, кроме меня, знал еще кто-нибудь об этом, но она верно забыла. Весной 1907 г. я в мае месяце был в Ясной, мы обедали все, и С. А-на стала за обедом говорить о том, что завтра обойщик будет перебивать в кабинете мебель. Я тогда вспомнил о бумагах и посмотрел на Л. Н. он, как мне показалось, на меня. Из этого я понял, что он о бумагах помнит, и верно они еще в кресле. А после обеда, когда мы с ним остались одни, он говорит: «Мне надо с тобой поговорить». Я говорю: «О бумагах в кресле».—«Да, какой ты памятливый. Ты вот что сделай: завтра пораньше утром, когда еще все будут спать,—вынь эти бумаги и возьми их».—Утром я рано пошел к нему в кабинет, но он меня встретил в дверях и уже нес в руках один только конверт и серый, а не белый, и на нем написано: «отдать после моей смерти гр. С. А. Т.», или что-то подобное. Это он мне велел взять и хранить пока у себя, что я и сделал, пока не отдал его Мих. С. Сухотину для передачи Софье Андреевне теперь.

«Когда после смерти Л. Н-ча С. А-не передали этот серый пакет, она вынула оттуда два письма, прочтя одно, она тотчас разорвала его; другое письмо именно было об уходе его, предполагавшемся в 1897 году.

Н. Оболенский.»

Приложение четвертое.

По возможности воздерживаясь от введения в мое изложение полемики, должен, однако, здесь коснуться, не раз приводимой моими противниками, записи в интимном карманном дневничке Л. Н-ча по поводу огорчившего его одного моего письма (от 24 сентября 1910 г.). Вслед за замечанием о столкновении с женой: «Она ушла и мне тяжело», он записал: «От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части. Иногда думается уйти от всех».

Не понимающие истинных причин, вызвавших уход Л. Н-ча, или почему-либо желающие их затушевать хватаются за эти несколько слов для того, чтобы утверждать, что Л. Н. «бежал» не только от своей жены, но и от меня. На самом же деле, приведенное из дневничка Л. Н-ча замечание обо мне выражает лишь мимолетное настроение, вызванное недоразумением такого рода, какое иногда неизбежно проносится даже между самыми близкими друзьями, и притом—тем более естественным, что в то время мы были лишены возможности непосредственного личного общения, (по требованию С. А-ны). Подобные недоразумения очень скоро и бесследно проходят между близкими по духу людьми. Так было и в этот раз, когда в том же интимном дневничке, на другой же день, 25 сентября, Л. Н. записал: «Написал письмо Черткову. И надеюсь, что он примет его, как я прошу». И в тот же день он оканчивает свое письмо ко мне по этому поводу словами: «Пожалуйста... не будем больше говорить об этом вашем письме, а будем пока переписываться, как будто его и не было, как и прежде, и о моем испытании, и о наших общих и духовных и практических, главное, духовных делах... и чтобы в наших отношениях не оставалось и тени от тени какого-нибудь неудовольствия друг на друга. Спасибо за все очень большое; все надеюсь до свиданья».

Нет надобности приводить здесь всех подробностей об этом эпизоде единичного характера, не оказавшем ни малейшего влияния ни на наши взаимные отношения, ни на дальнейшие поступки Л. Н-ча. (Вся переписка между им и мною как предшествовавшая, так и последующая, готовящаяся мною в настоящее время к печати, будет скоро целиком опубликована). Приведу лишь две небольшие выдержки из писем последнего периода:

«Не переставая думаю о вас, милый друг. Благодарю вас за то, что вы помогали и помогаете мне нести получше мое заслуженное мною и нужное моей душе испытание, несмотря на то, что это испытание не менее тяжело для вас. И помогайте, пожалуйста, нам обоим не ослабеть и не сделать чего-нибудь такого, в чем раскаемся» (20 июля 1910 г.). «Она (С. А.) больна и все другое, но нельзя не жалеть ее и не быть к ней снисходительным. И об этом я очень, очень прошу вас, ради нашей дружбы, которую ничто изменить не может, потому что вы слишком много сделали и делаете для того, что нам обоим одинаково дорого, и я не могу не помнить этого. Внешние условия могут разделить нас, но то, что мы—позволяю себе говорить за вас —друг для друга, никем и ничем не может быть ослаблено» (6 октября 1910 г.).

Это же отношение Л. Н-ча ко мне, казалось бы, достаточно неопровержимо подтверждается хотя бы и тем обстоятельством, что, заболев в Астапове, он первым делом вызвал меня к себе.

Собственно говоря, здесь и не стоило бы останавливаться на этом эпизоде, но я счел необходимым коснуться его во избежание обвинения в том, что сознательно умалчиваю об обстоятельстве, бросающем, будто бы, невыгодную для меня тень на те, существовавшие между Л. Н-чем и мною, отношения, которые сложились в течение нашей многолетней непрерывной дружбы и стали только еще более близкими в этот, самый последний период его жизни. Мне естественно претит самому подчеркивать это обстоятельство, но я вынужден был это сделать ради восстановления правильного освещения тех условий, которые действительно вызвали уход Толстого.

Приложение пятое.

Личность жены Л. Н-ча, Софьи Андреевны Толстой, теснейшим образом связана с изложенным мною повествованием о его уходе. Поэтому мне поневоле приходилось касаться ее отношений к своему мужу. При этом, описывая те мучительные страдания, которым подвергался Л. Н. в своем семейном кругу, я, к сожалению, вынужден был сообщить многое такого, что является обличением характера и поведения его жены. А потому, в предупреждение всяких недоразумений со стороны читателей касательно моих личных отношений к ней, мне хочется откровенно и ясно высказаться по этому поводу.

Как другу Л. Н-ча, мне, пожалуй, естественно было бы чувствовать горечь или даже враждебность по отношению к лицу, служившему для него таким тяжелым крестом в течение последних тридцати лет его жизни. А читателю естественно было бы предположить, что под влиянием таких чувств, я не могу относиться к С. А. Толстой без предубеждения и не сгущать, хотя бы невольно, краски при описании ее отрицательных сторон. Найдутся, без сомнения, и такие мои недоброжелатели, которые скажут, что, побуждаемый злопамятством, я нахожу удовлетворение в разоблачении в преувеличенном виде ошибок и погрешностей человека, причинившего мне лично много страдания. Но, несмотря на естественность подобных предположений, они были бы, в настоящем случае, ошибочны. На самом деле, отношение мое к жене Л. Н-ча совершенно иное.

Прежде всего, как при жизни Л. Н-ча я не забывал, так и теперь после смерти их обоих я никак не могу забыть, что Софья Андреевна была его женою, т.-е. занимала совсем исключительное положение по отношению к нему и в течение первой половины их совместной жизни была самым близким ему человеком. Уже одно это обстоятельство мне внушало и продолжает внушать особенную строгость к себе в моих отношениях к ней и осторожность в моих суждениях

о ней. К тому же, бывши близким свидетелем того, с каким удивительно любовным попечением Л. Н. относился к своей жене, никогда не теряя надежды на возможность ее духовного пробуждения,—я, с своей стороны, не мог не заразиться этим настроением, хотя бы настолько, чтобы не относиться к ней с недоброжелательством или предубеждением.

Кроме того, я принципиально не признаю за человеком права судить другого. Характер и поведение того или другого лица складываются в зависимости от стольких внешних и внутренних обстоятельств, за которые оно вовсе не ответственно; а сокровеннейшая область в нашем внутреннем сознании, в которой мы действительно являемся вменяемыми перед своей совестью, до такой степени недоступна постороннему глазу,—что осуждать мы имеем возможность и право только самих себя. По отношению же к другому мы можем судить лишь о его поступках, оставляя совершенно в стороне, как не подлежащий нашей компетенции, вопрос о степени его вменяемости при совершении их. При таком взгляде всякое осуждение, раздражение или досада, не говоря уже о гневе или мести, против другого человека являются только признаком нашей собственной несостоятельности, —ошибкой, слабостью, с которой, как с таковой, легче бороться, чем тогда, когда такие чувства признаются законными.

В виду этих двух обстоятельств, хотя мне волей-неволей и пришлось в настоящем изложении выставлять Софью Андреевну в неблагоприятном для нее свете, но делал я это, никак не побуждаемый личным недоброжелательством к ней и не в духе осуждения, а единственно из-за необходи мости правдиво изобразить то, что Л. Н-чу приходилось переживать.

Знаю, что многие не поймут моих действительных побуждений п строго меня осудят. С этим я вперед мирюсь. Но признаюсь, что тяжело, очень тяжело мне то, что настоящей своей книгой я неизбежно причиню боль находящимся еще в живых, наиболее близким ко Л. Н-чу его семейным, а именно—его детям. Добрыми отношениями с ними я, естественно, особенно дорожу, как старый друг их отца, всегда, вместе с тем, себя сознававший и продолжающий себя сознавать также и другом их семьи. Если у них подымется против меня недоброе чувство, то прошу их поверить, что, ошибочно или нет, но во всяком слу-

чае искренно, я счел себя нравственно обязанным поступить так, как поступил, по тем причинам, которые изложил во «Вступлении». Прошу их также принять во внимание, что на этот путь опубликования известной мне правды о семейной жизни их отца я был как бы насильственно вызван всей той неправдой об этом предмете, которая, в течении стольких лет и так неотступно, была устно и печатно распространяема по всему миру, между прочим, и их собственною матерью и двумя их братьями, Ильей и Львом Львовичами, при чем последние двое создали себе даже род профессии из публичных лекций и печатных выступлений на эту тему. Еще совсем недавно мне пришлось ознакомиться с появившейся в одной из самых распространенных за границей газет—парижском «Figaro»—серией статей Льва Львовича Толстого, в которой он силится покрыть осуждением и позором память своего отца, в противоположность выставляемому им идеализированным до полного искажения образу своей матери. При этом он так небрежно обращается с фактами, что, очевидно под влиянием всем известной враждебной его зависти к своему отцу, сообщает о нем совершенную неправду, являющуюся, хотя быть может и невольной, но тем не менее, самой определенной клеветой. Такие злостные выступления против Л. Н-ча во всемирной печати некоторых из наиболее близких к нему по родству его семейных дают основание надеяться, что другие его семейные не станут удивляться тому, что на ту же арену, в защиту памяти их отца, выступает один из его ближайших друзей, имеющий возможность свободнее высказываться о взаимных отношениях между их родителями, нежели они, естественно стесненные узами своего родства.

Само собою разумеется, что у С. А-ны, как и у всякого человека были свои достоинства и свои недостатки. Но ведь для каждого понятно, что если Л. Н. был доведен до необходимости ее покинуть, то принудили его к этому никак не ее достоинства. А потому, описывая причины его ухода, я неизбежно был вынужден останавливаться на отрицательных сторонах ее характера.

В этом кратком повествовании, исключительно посвященном одному определенному событию в жизни Л. Н-ча

и связанным с этим событием внутренним и внешним обстоятельствам, — я не задавался целью излагать общую и полную характеристику личности Л. Н-ча и С. А-ны. Ограниченные рамки моей специальной задачи налагали на меня необходимость строго держаться в пределах тех свойств и особенностей действующих лиц, которые так или иначе непосредственно освещали описываемое событие. О сколько-нибудь исчерпывающей, всесторонней характеристике этих лиц здесь не могло быть и речи, не говоря о том, что подобная задача далеко превзошла бы мои личные способности. Важнейшая и, быть-может, самая трудная сторона задачи, действительно лежавшей передо мной, состояла в том, чтобы вполне правдиво, ничего, конечно, не преувеличивая, но вместе с тем и не утаивая из ложной деликатности главные факторы ухода Толстого—выставить во всей их силе те обстоятельства, которые побудили Л. Н-ча, в конце-концов, предпринять свой решительный шаг. Это я и постарался исполнить как можно добросовестнее, осторожнее и правдивее. Насколько я мог бы, из естественной, быть-может, но, в настоящем случае, неуместной чувствительности, сгладить крайности поведения С. А-ны и смягчить действительный характер ее отношения к Л. Н-чу, — настолько я лишил бы мотивы его ухода основательности и неизбежности и выставил бы побуждения Л. Н-ча в более или менее искаженном виде. А это, разумеется, недопустимо.

Еще при жизни С. А. Толстой у меня одно время являлась мысль, в ее же интересах, напечатать истину об уходе Л. Н-ча. Я питал надежду, что из такого правдивого повествования она могла бы получить некоторое представление о том, как много страдал от нее Л. Н., как боролся он с собою, как самоотверженно отвечал он ей добром на зло, как упорно, несмотря ни на что, верил в искру Божию в ее душе и как радовался и умилялся малейшему проявлению этой искры. И кто знает, говорил я себе, быть-может, такое восстановление перед ее глазами того, что было на самом деле, в противовес тем фантастическим измышлениям, которыми она заслоняла от себя истину,—быть-может, эта правдивая картина того, что Л. Н. действительно переживал, поможет ей со временем признать правду, очнуться и душою слиться с тем, кто любил ее так, что душу свою положил за нее.

Но тогда я не решился это сделать. И теперь о том не жалею. У С. А-ны, помимо всяких внешних воздействий, после смерти Л. Н-ча несомненно проявлялось по временам некоторое, хотя и кратковременное, внутреннее смягчение. Так было, напр., непосредственно после его смерти, когда она перед несколькими лицами в душевных муках каялась в том, что была причиною его смерти [1]). И если затем последовал продолжительный период, в течение которого она проявляла, по крайней мере на словах, прежнее свое равнодушие или даже враждебное отношение к Л. Н-чу,— зато перед самой смертью своей, как говорят ее близкие, она опять высказывала сожаление о своей вине перед ним. И, если наружно она и мало в этом каялась, то все-таки кто может сказать, что она в душе своей передумала и перечувствовала, и, в особенности, что происходило в ее сознании в те часы и минуты умирания, когда человек, отрезанный от общения с окружающими, в совершенном одиночестве перед своим Богом, знает, что он уходит из этой жизни?

И хотя, покидая этот мир, С. А. и унесла с собою ответ на этот вопрос,—тем не менее, у нас нет никаких оснований отрицать возможность того, что перед ее смертью осуществилась, наконец, заветная, никогда не покидавшая Л. Н-ча надежда, что она, рано или поздно, сольется с ним духовно.

Будем же и мы в духе любви и сострадания относиться к ошибкам, недостаткам и душевным ограничениям спутницы жизни Л. Н-ча. Но, вместе с тем, будем смело смотреть правде в глаза, никоим образом не умаляя размеров перенесенных Л. Н-чем страданий скрыванием действительного отношения к нему его жены или изображением ее поведения в затушеванном виде. Если мы будем держать в памяти ту великую, божескую любовь, которою он любил ее душу, то, и перед лицом неприкрытой правды, мы не осудим, но искренно пожалеем ту, которой суждено было послужить орудием его наиболее тяжких испытаний. И мы поймем, что испытания эти, в конце истощившие физические силы Л. Н-ча и вызвавшие его смерть,—были, очевидно, нужны для проявления в нем всей полноты полученной им от Бога духовной силы.

---

[1]) См. об этом последние страницы «Дневника» А. Б. Гольденвейзера, ныне печатающегося.

Издания в пользу голодающих.

Комитет имени Л. Н. Толстого по оказанию помощи голодающим и Центральное Т-во «Кооперативное Издательство» предприняли совместное издание книг в пользу голодающих. Комитет имени Л. Н. Толстого дает для издания ряд рукописей. Центральное Т-во «Кооперативное Издательство» покрывает расходы по изданию. *Весь чистый доход от изданий поступает в фонд помощи голодающим Комитета имени Л. Н. Толстого.* Предпринимая это издательство, Т-во рассчитывает на поддержку центральных, областных и губернских союзов кооперативов, желающих прийти на помощь голодающим.

Вышла из печати книга В. Г. Черткова «Уход Толстого».

На издание данной книги Всероссийский Кооперативный Страховой Союз и Всероссийский Кооперативный Лесной Союз внесли необходимые суммы.

Печатаются: Дневник А. Б. Гольденвейзера о Толстом 1896—1910 г.г. 3 тома.

Готовятся к печати: Письма Л. Н. Толстого к Т. Л. Сухотиной.